

Наталья ИРТЕНИНА

НЕСТОР- ЛЕТОПИСЕЦ



Наталья Иртенина
Нестор-летописец

«ВЕЧЕ»

Иртенина Н. В.

Нестор-летописец / Н. В. Иртенина — «ВЕЧЕ»,

ISBN 978-5-4444-8855-3

ISBN 978-5-4444-8855-3

© Иртенина Н. В.

© ВЕЧЕ

Содержание

Часть первая. Мятеж	7
1	8
2	12
3	15
4	19
5	26
6	29
7	31
8	35
9	39
10	43
11	47
12	52
13	56
14	59
15	65
16	69
17	76
18	79
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Наталья Иртенина

Нестор-летописец

ОБ АВТОРЕ

Книга «Нестор-летописец» московской писательницы Натальи Иртениной открывает линию исторических произведений, посвященную сложному периоду становления русской государственности в X—XI вв. По словам доктора исторических наук С.В. Алексеева, научного консультанта обоих романов, «автору удалось поистине вжиться в мир Древней Руси – и развернуть панораму этого мира перед читателями... Книга наследует лучшие стороны русского романтизма, обращая читателя к корням его культуры». При этом Иртенина «создает нечто большее, чем просто исторический роман. Ее цель – создание Легенды, в которой сплетены исторические события, темы русского героического эпоса, христианская мистика, противопоставляемая темному языческому наследию...»

Несколько лет назад Наталья Иртенина получила известность именно как автор «литературы чуда», в которой органично сплетаются земная реальность и иная, высшая. Этот литературный формат, развиваемый некоторыми современными писателями, получил удачное название «христианского реализма», сразу подхваченное критиками.

Не любя однообразия, Иртенина пробовала себя в разных жанрах – альтернативной истории (роман «Белый крест»), романа-притчи («Меч Константина»), историко-философского детектива (повесть «Волчий гон»), в биографическом жанре (эссе о Ф.И. Тютчеве в сборнике «Персональная история», книга «Патриарх Тихон»). Участвовала в коллективной научной монографии «Традиция и Русская цивилизация», развивающей концепции философии истории, в частности философии русского традиционализма.

В рамках художественных построений Иртенину интересует то позитивная модель христианского государства, то смысловые стержни русской истории. А, например, в романе «Царь-гора» автора волнует не только прошлое России, убитой после 1917 года, но и ее будущее, ее шанс на воскресение, поэтому линия Гражданской войны тесно переплетена в книге с линией современности. Поиск ответов на сложные вопросы человеческой истории и личных судеб, философская заостренность в яркой художественной форме, доля тонкого юмора – визитная карточка произведений Натальи Иртениной. А в последних своих романах она демонстрирует умение уютно «обжиться» в мире Древней Руси, среди князей Рюриковичей, бояр, монахов, дружинников, торгового люда – ни на йоту, как дотошный исследователь, не отступая от исторической достоверности летописного «эпического века».

Член Союза писателей России, Иртенина время от времени выступает также как публицист и автор статей на культурно-исторические темы в московской журнальной периодике и книжных изданиях. В полемике по литературным вопросам, на семинарах историко-литературного «Карамзинского клуба» она проявляет крайнюю жесткость и принципиальность, за что критик Лев Пирогов однажды в шутку отозвался о ней как о «...княжне Мышкиной на балу лицемеров».

На поприще художественно-исторических реконструкций Наталья Иртенина стала обладателем литературных премий «Меч Бастиона», «Карамзинский крест», премии Лиги консервативной журналистики имени А.С. Хомякова, награждена знаком «За усердие» историко-культурного общества «Московские древности». Роман «Нестор-летописец» в 2011 году номинировался на Патриаршую премию по литературе имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ НАТАЛЬИ ИРТЕНИНОЙ:

- «Белый крест» (2006)
- «Меч Константина» (2006)
- «Царь-гора» (2008)
- «Нестор-летописец» (2010)
- «Шапка Мономаха» (2012)
- «Патриарх Тихон» (2012)

И о том помыслив, вошел ты в святую купель...
Митрополит Иларион.
Слово о Законе и Благодати

Се повесть временных лет...
Нестор-летописец

Часть первая. Мятеж

*Год 6576 от Сотворения мира,
от Рождества Христова 1068-й.*

В плешивую верхушку Лысой горы врыт истукан. Деревянный, бородатый, дикий. Когда гуляют дождь и ветер, идол воет и трясется. Под солнцем ссыхается и трескуче попукивает. Борода лупоглазыми змеями струится до земли. Идол выструган недавно, но от нетерпения успел покрыться гнилыми пятнами. Злыми глазами он смотрит на стольный Киев.

Старший город Руси обильно взошел на семи горах, напоен Днепром-батькой, вскормлен полями, умыт Христом, облачен княжым стараньем в белостенный наряд. Жирный город. Щедрый тук льется в закрома. Быстрая кровь играет в жилах.

Идол слепо взирает окрест. По правую руку – от Предславина-села к Золотым воротам тащатся вереницей букашек горбатые возы сена. В Белгород от Жидовских ворот полетел на коне княжий гонец. Слева из Дорожич плетутся гурьбой калики перехожие, нищие бродяги и песельники. Дальше за шляхом гора Щекавица, перетянутая пополам срубной киевской городьбой. Перед белёной стеной на верху холма пучится древний курган. Киевский люд зовет его могилой Вещего Олега, того самого, что перед смертью посмеялся над волхвами-предсказателями. Впереди, далеко, за жилой застройкой, ныряющей в яр, выплескивающей на холм, – Гончарами, Кожемяками, – серебрится крестами и темнеет кровлями Княжья Гора в собственном белостенном венце. Не так давно спустившийся с Горы и раздобревший Киев всеми дорогами сходится к Святой Софии. Двадцать пять куполов собора теснятся, подпихивают друг дружку повыше.

Всего этого идол не видит. У него есть глаза, рот и уши, но он не умеет видеть, слышать и говорить. Идолы умеют только ждать.

1

Убежавшее от туч солнце просовывало пальцы в шестигранники слюдяного окна, тяпало по макушке, до чиханья щекотало в носу. Пыльные лучики отскакивали от свинцовых ученических писал, прыгали на стены. Тщетно пытались расплавить воск на вощаницах, слизать написанное.

Между столами, опираясь на кованую узорную трость, шагал наставник отец Евагрий. Бледный, сухопарый грек с провислыми подглазьями и навсегда отпечатавшейся в лице душевной мукой ступал беззвучно, заглядывал в восковые тетради учеников. Даже свою железную палку выучил не издавать стука, отчего страдали всегда проказники, сидевшие спиной в проход. Той же палкой Евагрий учил не делать ошибок на письме.

Торопясь за ровным, как стесанное бревно, голосом учителя, Несда вдавливал в желтый воск поучение Василия Великого: «Научись, верный человек, быть благочестию делателем... жить по евангельскому слову... очам управление, языку удержание, телу порабощение, помысл чист имей, гневу укрощение... побуждай себя на добрые дела Господа ради. Лишаем – не мсти, ненавидим – люби, гоним – терпи, хулим – моли, умертви грех...»

Несда любовно, с завитушкой вывел «хер» в последнем слове, и сейчас же в затылок ему влетел подарок. Ужалил так сильно, что из очей брызнули слезы. Вскрикнув, он получил еще – на плечи обрушилась греческая трость отца Евагрия.

– Языку удержание имей! – напомнил учитель и стал диктовать далее.

Согнувшись под ударом, Несда низко наклонил голову, скосил взгляд назад, через плечо, увидел хмылкующую рожу Коснячича, сына тысяцкого Косняча. Пониже рожи был выставлен грозящий кулак, из-за вощаницы на столе виднелась трубочка для плеванья. Несда закрыл глаза, послушал стихающий шум в голове, взмолился о враге своем: «Господи, мало Ты дал ему, мало и взыщи с него». Крепче сжал писало.

«Пред старцы имей молчание, пред мудрейшими послушание, с равными любовь, с меньшими любовное совещание и наказание...» Книжные словеса имели власть над ним. Забывалось тотчас все постороннее, не имеющее отношения к письмам, к древним отеческим преданиям, к историям, рассказанным давным-давно, к мудрости, изреченной устами святых праведников. От усердия при письме высывался кончик языка, отец Евагрий раздраженно тыкал ему тростью в губы, порой разбивал в кровь. Не помогало: язык не удерживался. Полного презрения со стороны наставника удавалось избегать по единственной причине: Несда был лучшим учеником.

Тысяцкий сын Коснячич ненавидел его всей душой, широко, с вымыслом. Придумал прозвище – Ученый осел. Однажды преподнес ему проволочный венец с длинными зелеными ушами из лопухов, в обилии водившихся на митрополичьем дворе. К проволоке был прикручен кусок коры с надписью: «Первый среди ослов». Несда повертел венчик в руках, переспросил:

– Значит, я первый среди вас?

За это поплатился: принес домой два рдеющих налива под глазами. Коснячич не терпел покушений на свое самолюбие. Смирение не возвышало его душу, зато обременяла житейская гордость. Отец Евагрий не ласкал Коснячича тростью с тех пор, как отрок прошипел под его занесенную руку: «Я велю холопам, они зарежут тебя под забором, как свинью». Внушение остудило грека, а затем пошло по кругу в обратном направлении: Евагрий побежал жаловаться к попечителю отцу Каллимаху, тот доложил митрополиту, от владыки внушение побрело к князю, от князя шлепнулось холодной каплей за ворот тысяцкому. Неведомо осталось, каким путем оно возвратилось к боярскому детищу – через уши или иные части тела. Однако с того дня Коснячич и Евагрий делали вид, будто равнодушны друг к другу.

Учитель велел отложить вощаницы, стал рассказывать о деяниях царьградских василевсов. Несда слушал прилежно. Лишь иногда на уроках к нему приходило недоумение: отчего грек никогда не говорит о деяниях прежних русских князей и великих каганов – Владимира, Ярослава? В греческом хронографе, сиречь временнике, Иоанна Малалы о них не прочтешь. Лишь в труде Георгия Амартола есть скупые слова о русах. Но при владычном дворе киевские книжники записывали древние сказания о князьях земли Русской, о походах на Царьград, о том, как утер пот князь Владимир с дружиной своей, много потрудившись на благо Руси. Для Евагрия всего этого будто не существовало. Несда слышал, что византийские ромеи считают Русь варварской страной и свое пребывание здесь мнят подвигом веры. А между тем дальше Чернигова и Новгорода боятся сунуться. В Ростове после изгнания язычниками епископа Феодора полста лет назад ни единого грека больше не видели.

– Кто из вас скажет мне, как звали византийского василевса, просветившего Русь Христовой верой?

Обмирая от шевельнувшейся в сердце обиды и взявшейся невесть откуда дерзости, Несда поднялся со скамьи. Побледнел, прижал потные ладони к портам.

– Апостол Руси есть Андрей, по прозвищу Первозванный. – Никогда собственный голос не казался таким звонким, высоко подскакивающим. – От Корсуня святой Андрей поднимался по Днепру и, утвердив на горе крест, предсказал явление города великого. Город тот осияет благодать Божия, и воздвигнутся в нем многие церкви. Так и исполнилось. Киев...

– Что такое?!!

Отец Евагрий придвинулся вплотную, навис, как грозовая туча, вздел трость. На бледном лице учителя взыграли красные пятна. Несда втянул голову в плечи.

– Откуда взялась оная глупость?!

Трость поднялась выше.

– Отец сказывал, – пискнул Несда.

– Ах оте-ец... – Евагрий с мучительным торжеством во взоре оглядел учеников, притихших в ожидании бури. – Кто же твой отец? Великий Омир? Новый Геродот? Или Прокопий Кесарийский? А может, Евсевий Памфил? Георгий Амартол?

Потрясенный предложенным выбором, Несда пролепетал правду:

– Он купец. Торговый человек.

– Купец?!!

Трость бухнула об половицу, едва не проломив доску.

Евагрий гневался долго. Стучал палкой по столу и по лбу Несды. Брызгал слюной, ругался «варварами», «невегласами», «лесными дикарями», что было неправдой. Всем известно: киевские поляне издавна живут в полях, оттого и прозвались так.

Даже язычниками обзывал. И это тоже была неправда. По крайней мере, полуправда.

– А отцу то поведал в Ростове владыка Леонтий, – совсем тихо изрек Несда, так что никто и не слышал.

Достоинство учителя Евагрия заключалось в том, что он всегда, даже во гневе, помнил о собственных грехах. Внезапно оборотившись к иконе в углу, он широко перекрестился и по-гречески молвил покаянную молитву. Затем велел:

– Вон с глаз моих...

Когда Несда подошел к двери, он передумал:

– Нет, постой... Ступай в библиотеку, принеси книгу «Шестоднев» Иоанна Болгарского.

За дверью Несда перевел дух и, пока шел по внутреннему гульбищу огромного собора, попросил у Господа даровать разумение – отчего так разъярило учителя апостольское пророчество. Святой Андрей благословил землю, на которой через века возрос Киев. Воссияла благодать. В чем тут варварство и язычество?

Он миновал палаты училища, где занимались старшие – богословы и риторы. Верхнее просторное гульбище опоясывало владычный храм с трех сторон. Кроме училища здесь размещались митрополичьи и княжьи покои, книгописная мастерская, казна, хранилище древних харатей, книжня, по-гречески библиотека. Сквозь окна в купольных барабанах голубело небо, впервые за три седмицы. Гнилое лето вот-вот встретится с осенью.

Несда толкнулся в дверь книжни. Здесь всегда и на всем почивала дивная тишина. Полки вздымались до потолка, прогибались от тяжести. Книги, от величины в пол-локтя до огромных, одному не удержать, вызывали и разные чувства. Малые умиляли, исполины рождали трепет, с прочими Несда ощущал себя на равных. Волнующе пахли переплеты, обтянутые в кожу, запорошенные пылью от долгого лежания. Тонкой струей вкраплялся аромат чернильных орешков и недавно выработанного пергамена. Сквозь книжную тишину не сразу пробивалось посапывание задремавшего за работой чернеца.

Несда подкрался к столу, заглянул через плечо короткобородого, но сильно власатого монаха, спавшего с поднятой головой. Прочел недоконченную фразу: «Не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Чернец переписывал книгу проповедника Екклесиаста. На широком поле листа рядом с ровным столбцом кривилась отсебятина: «Ох, горе мне, грешному и унылому. О бращне помыслы, голову в сны клонит».

Монах очнулся, уставил на Несду мутные глаза.

– Чего?

– Мне бы «Шестоднев» Иоанна Болгарского. Отец Евагрий послал.

– Ну, послал так послал.

Чернец с костяным хрустом потянулся, зевнул, перекрестя рот, показал пальцем, поросшим рыжей шерстью.

– Там возьми.

Несда подошел, коснулся ладонью корешков, провел по бугоркам переплетных ремней. Он стоял задом к монаху, чтобы тот ничего не увидел. В отношении книг Несда чувствовал стыдливость, какую отроку его лет полагалось испытывать с девицами. Но девицы до сих пор не занимали его сердца, и книги царили в душе безраздельно. Он нашел «Шестоднев», прижал к груди и замер, переживая миг счастья.

В доме отца книг не хранили, не берегли как зеницу ока. Для купца средней руки, недавно наладившего торговлю с Новгородом и Корсунем, это была невозможная роскошь. Несда владел лишь старенькой Псалтырью, которую подарил на прощанье ростовский епископ Леонтий.

– Чего там возишься?

– Да я... – Несда повернулся. Робея, выдохнул, зачистил: – Дивлюсь тайне. Отец Никодим говорит, книгами Дух Божий глаголет. А в Евангелии от Иоанна сказано, что слово есть Бог. Как столь малые письмена вмещают столь великое?

– Эх... – Чернец покачнулся на высоком сиденье. То ли икнул, то ли задумался. – Сие не тайна. Брюхо вот, – мохнатый палец уперся в круглый бугор под рясой, – тоже мало, а будто бездна. Око невелико, – монах потер в глазнице, – а зрит много всякого. Человек ничтожен, горсть праха – а желает приобрести весь мир.

Несда рассуждению подивился.

– Отец Никодим говорит, это похоть плоти, похоть очей и похоть разума.

– Гордость житейская. – Чернец махнул дланью. – То не Никодим, то Иоанн Апостол. А читал ли ты, отрок, в Писании: блаженны алчущие и жаждущие правды? Бездна врачуется другой бездной! – Шерстяной палец встал прямо, указуя в небо. – Кто жаждет духа, не алчет праха. Господь дал жажду, дал и потребное для ее утоления. А кому какое по нраву, сие каждый сам решай. Уразумел?

Несда внимательно глядел на черноризца. Тот посмеивался в бороду.

– Уразумел.

В книжню поскреблись, в дверь заглянула голова поповского сына Епишки.

– Отец Евагрий снова серчать надумал, – недовольно сообщил он. – Чего так долго-то? Небось не в княжьи хоромы послан.

2

– Здесь он. Помирать собрался.

Дворский кметь оттопырил губу, ушел в сторону, сел на перевернутую телегу и принялся чистить ветошкой и без того чищенный холопом меч.

Даньша поглядел через узкое, в полтора кулака окошко. В порубе было темно и глубоко. Несло отхожим духом. Где-то там внизу что-то глухо ворочалось.

– Эй! Кто живой есть? – позвал Даньша.

Иных звуков не было. Даже ворочаться перестало.

– А может, помер, – буркнул княжий отрок, – пока я за тобой ездил.

Всем видом кметь пытался втолковать окружающим, что невзначайная погибель старшего дружинника, заточенного князем в поруб, является для него смертной обидой. Глядеть за узником поручили ему. Кормить и поить тоже. Чтоб не совсем затосковал. А тот захотел вдруг протянуть ноги. Что князь-то скажет?! Уморили, скажет, моего Душилу...

– Я те дам – помер, – погрозил Даньша. – Лучше объясни заново, как он в поруб угодил. Я чего-то не совсем понял.

– Чего тут объяснять. Слыхал небось, к князю латынские послы прибыли, дочку сватают для ихнего короля.

– Ну.

– Ну и перепились на пиру. Душило и этот... рыцарь Ромуальд. Пошли ворон стрелять. Там их и повязали. Не сразу, правда.

– Это кто тут мне кости перебирает?! – зычно громынуло из поруба.

Даньша обрадовался:

– Ну вот, а говоришь – помирает. Кто помирает-то?

– Даньша, брат крестовый! – взревело в порубе. Бревна задрожали.

– Душило, упырь ты мой родной! – Даньша одной рукой облапил оконце, как бы обняв друга. Второй руки у него не было, рукав суконной свиты заткнут за пояс. – Где ты, не вижу...

– Да тут я, не достать до окна, яма глубокая... Савка тебе чего наплел про меня? Все брешет. Не так было.

– А как?

– Князь на меня разгневался. Я пятерых из младшей дружины покалечил.

– Семерых, – уточнил Савка.

– Ты уж там молчи, смерд.

– Я не смерд.

Кметь оскорбился и ушел. Из-за сруба кладовой клетки торчал лишь его нос.

– Шестерых покалечил, – поправился Душило. – Так они сами... Нечего под руку лезть, когда я из лука стреляю. Не люблю я этого.

– Для чего по церковным крестам-то стрелял?

– По крестам – не знаю, наговор это. Бояре меня не любят. Поклепничают князю. Мы с рыцарем Мудальдом по воронам били. На спор. Я не виноват, что они все по крестам сидят. Как будто в Киеве больше сидеть негде. И рыцарь этот... Если б я не выпил столько меду, я бы ему голову скрутил. Чего он... А так я добрый.

– А чего он?

– Сперва новгородскому епископу козу строил, думал, никто не видит. Епископ, больной, затеял прю с латынцами о вере. Как будто в Киеве больше негде прю устроить, на пиру у князя надо.

– Про что прю? – заинтересовался Даньша.

– А что нечего наших княжон под римского папу отдавать. Игумен Федосий нашему князю про то же целый пергамен измарал. Про поганую латынскую веру. Да толку... После того рыцарь Мудальд услышал, как песельник про Вещего Олега гусли дерет, и сказал, что ничего не было.

– Как так не было?!

– Вот и я тоже: как так?! А он: в грамотах ихних христианнейших королей и римских пап о взятии Константина-града вашим князем ничего не сказано. И про прибитый на ворота щит тоже ничего... – В порубе на короткое время стало тихо и задумчиво.

– А на ворон как перешли?

– Кто ж теперь знает... Даныша... Ты помнишь, как я на Немиге, когда против Всеслава ходили, князя от верной смерти спас?..

– Как же не помню! Я там руку оставил.

– А теперь он ко мне не хочет прийти... попрощаться... Я уж этого посылал, Савку...

Голос, доносившийся из поруба, совсем ослабел.

– Душило, эй, ты чего там? Вправду помираешь?

Даныша попытался просунуть голову в оконную щель.

– Мыши тут... В дождь грязи по колено... Когда схороните, ты мою жену себе возьми. А детей мы с ней не прижили...

– Так я женатый, забыл? – удивился Даныша.

– И дети есть?

– Как не быть.

– Ну, тогда пускай Гавша мою Алену за себя берет. Годов-то ему сколько, братищу твоему?

– Годов-то ему хватает. Только Гавше нужно девку с умом и с норовом сватать. Чтоб могла запряхь этого жеребца. Пока не сыскалась такая.

Отрок выглянул из-за клетки, прислушался. Обычное дело: сидят двое старых дружинников на княжьем дворе, за тридцать годов каждому, вспоминают прожитое. Один безрукий, уже и не дружинник, а так, купчина вроде, другой в порубе.

– Эй, Савка! – гулко донеслось из темницы.

– Ну чего? – не сразу отозвался кметь.

– Меду принес бы.

– Не велено.

– Ну ладно, про смерда это я сгоряча, прости.

– А буянить не будешь, храбр? Поруб ломать?

– Когда такое было-то?

– Да уж было... – вздохнул Савка. – Ладно, принесу. Эй, ты, – позвал он пробежавшего мимо холопа, – за мной иди.

Воротился быстро. Холоп нес две малые глиняные корчаги. Савка обвязал горлышко одной вервием и протолкнул в оконце поруба. Едва пролезла.

– В поварне брал или в медуше? – спросил Душило, выбивая хлопком затычку.

– В медуше. Ключник сегодня не жадный.

– Ключник не жа-адный... А князь прижимистый... стал. Это я не тебе, Савка. Закрой уши.

– Да пожалуйста. – Кметь спустил вторую корчагу, вытянул веревку и ушел на свою телегу. – Очень надо, – донеслось оттуда.

– Так чего князь-то? – спросил Даныша.

– Князь-то? Мало меду выставляет. А вином грецким да пивом разве сыт и весел будешь?

– Да-а... – задумался Даныша. – А чего так?

– Старееет князь.

– Слышно, отроки его по селам лишнее дерут, напрасные виры придумывают, смердов злят.

– Кто ж за ними уследит. Балуют...

Об стену поруба что-то хряснуло. Пустую корчагу загубил, догадался Даныша.

– Ты-то как, брат крестовый? – спросил Душило между затяжными глотками.

– В Корсунь скоро пойду, людейный обоз с товаром поведу.

– И как оно – в купцах? – громко рыгнув, осведомился Душило.

– Да как... Своя сноровка нужна. А без нее – не то что без руки останешься. Ноги оторвут.

– А может, и мне в торговые люди податься?.. – загрустил Душило. – Ходить с обозами.

Тоже ведь – не веретеном трясти. Меч при себе, гирьки на поясе. Кошель на брюхе.

– Ты чего это? – всполошился Даныша. – А князь? Изяслав Ярославич наш?

– А князь сам по себе... Нужен я ему будто.

В порубе снова хлопнуло, осыпалось. Вторая корчага.

– Да! Ты ж помирать хотел? – вспомнил Даныша.

– Перехотел, – мрачно сказал Душило.

И стал буянить.

Стены поруба затряслись от крепких ударов. Бухало мерно, с расстановкой. Даныша спиной, прислоненной к сруб, чувствовал, как стонут в крепах бревна темницы.

Э-эх, по-над реченькой, да над широ-ко-ю-у...

Э-эх, спят-лежат вои хоро-бры-е...

Э-эх, да сном да крепеньким...

Непробу-удным...

Петь Душилу было тяжело, из груди рвалась надрывная горечь. Даныша поднял лицо к синему небу. Ему тоже захотелось меду, и чтоб песельники рвали струны гуслей, а скоморохи дудели в сопели и ходили вверх ногами, и стол был полон яств, и девки красные пригубляли заморское вино.

– Ну вот, опять. – К порубу подошел кметь, топыря губу. – Не надо было меду давать. Заклинался же не давать.

– Чем это он? Не покалечится сам-то? – спросил Даныша.

– А сапогами. Ежели поруб не обрушит, так и нечем там калечиться... Ни у кого таких сапог нет, – добавил отрок.

Э-эх, воронье да послета-алось...

– Не умеет пить. – Кметь осуждающе потрянул чубом. – А еще из лучших мужей.

– Ты бы, молодо-зелено, – нахмурился Даныша, – помолчал бы. – И опять поглядел в небо. – Душа веселья просит.

Э-эх, да в сырой земле лежать-почива-ать... —

тянули теперь уже вдвоем.

3

Новгородский епископ Стефан был недоволен. Князь киевский не слушал советов. Сам митрополит не мог его переупрямить, от епископа же Изяслав отмахивался, как от мухи. Чем я, говорит, хуже батюшки, великого кагана Ярослава, который со всеми странами Заката породнился через свое многочадие. Сына меньшого, Всеволода Переяславского, не абы на ком женил – на принцессе византийской, Мономаховне. Я же, говорит, всего лишь польскому князю двоюродным братцем прихожусь, а через жену – дядей. Это, считай, почти ничего, с ляхами у нас разговор особый. Могу хотя бы дочь в приличное королевство замуж отдать? Сколько ни увещевал епископ, что не подобает агнца, сиречь беспорочную девицу, в волчью пасть засовывать, все напрасно. Дружба с латынцами князю дороже спасения души собственного чада.

Четырнадцать лет минуло, как патриарх константинопольский Михаил Керулларий и папа Лев IX предали друг друга анафеме. За это время римское папство не только не покаялось в расколе со вселенской кафолической Церковью, но пуще продолжает лаять на нее. В гордыне своей само себя назвало кафолическим, а на апостольское православие клеветает, облыжно виня в ереси. При том разобраться в богословских тонкостях раскола под силу только людям хорошо образованным, здесь же, на Руси, таковых не обрящешь. Чернь по-прежнему погибает в язычестве. Бояре и те в нужде зовут волхвов. Князья... советов не слушают. Иные так просто от волхвования рождены.

Владыка поерзал в конском седле, живо вспомнив прошлогоднее разорение Новгорода полоцким князем Всеславом. Пришел с ратью, налетел, пожег, украл колокола со звонницы и паникадила из Святой Софии, увел полон. Тать в овечьей шкуре. Новгород своей отчиной зовет, под себя тянет. Не зря Всеслав среди невеж и черни слывет оборотнем. Облик человеческий, нутро волчье. Говорят, в калите на шее полоцкий князь носит ту мерзость, в которой вышел из утробы матери, – родильную рубашку. Будто бы так велели волхвы, от чьего колдовства и родился младенец. Тьфу. Епископ перекрестился. А в самом Полоцке при дворе Всеслава язычество силы копит. Да что в Полоцке. В Киеве на полоцком подворье тех волхвов обретается несчитано. За князем своим прибрели. Чего доброго, выведут его из заточения. Кудесники, они могут. Бесовской силой творят кудесы.

Всеслав за свои дела теперь сидит вместе с сыновьями в порубе на киевской Горе. Хоть и зло поступил с ним Изяслав, нарушил братское крестоцелование, а все же так спокойнее. Да и то рассудить: не силен ли Бог всякое зло к правде обратить?

В Киеве Стефан оказался по делам своей епископии. А тут сватовство латинское. Митрополит Георгий в вере крепок, умом сообразителен, а волей слаб. Не такие владыки нужны на Руси. Здесь слово должно быть со властью, а власть с силой и твердостью. Своими новгородцами, от бояр до холопов, епископ Стефан так и управлял. Особо теперь, когда князя в Новгороде не видали с прошлогоднего ратного Всеслава нахождения. Мстислав Изяславич бежал с позором перед битвой, и битву проиграли. Больше самовольные новгородцы Изяслава племени к себе в князья не хотят. И с этим тоже епископ в Киеве оказался – договариваться о князе. С ним для верности отправлено малое посольство от вольного города – бояре да гости торговые. Те на Новгородском подворье разместились, в Копыревом конце. Ну а епископская честь – в митрополичьих хорах у Святой Софии почивать.

После беседы с князем у епископа болел живот. Хотелось слезть с коня и полежать, но дорожных носилок не было. Конные холопы позади вполголоса ругали княжью челядь. Бревенчатая мостовая утекала впереди под своды Софийских ворот и спускалась круто вниз. Гора – старый город князя Владимира – была окольцована стеной лет сто назад, а теперь составляла лишь малую часть Киева. Укрепления давно не поновлялись и местами сгнили. Несмотря на

бурканье в животе, владыка отметил, что новгородцы за своим детинцем следят куда заботливей, нежели киевские люди. Здесь князь всему голова. А у князя хлопоты – дочку получше спровадить и осрамившегося Мстислава обратно подсунуть новгородцам. Еще говорят, князь любит на вечерней зоре прийти к порубу Всеслава и побаять перед сном о чем ни то. Раскаянье, что ли, его грызет?

Выехали из ворот. Боярские усадьбы с обеих сторон, долгий тын из островерхих кольев. Хоромы у всякого на свой лад, от пожара обмазаны глиной, побелены, только кровли темнеют.

– Тпрру-у-у!

Конь встал – и ни с места, прядает ушами. Епископ вертит головой, не понимает, в чем причина.

– Эй, погорельцы новгородские, чего рты разинули?

Четверо каких-то, холопьяго вида, в посконине, вылезли из проулка, стоят, творят над владыкой посмехи.

– А мы вам князя нашли, самого лучшего, другого и не надо искать.

Расступились, вытолкнули вперед кобелька на веревке. Пес дрожит, твкает, пятится, хвост завернул кренделем. Его пинают под плюгавый зад, в ноги Стефанову коню.

– А не нравится, так все одно лучше, чем Мстислав. Вишь, гавкает. Смелый. Не удерет.

– Какие это псы на меня зловонные пасти раскрыли? – загремел владыка голосом, каким возглашал проповеди в новгородской Софии. – Чьи рабы?

– Полоцкие куражатся, – подсказали собственные холопы, которым поношение тоже не понравилось.

– Чего стоите, отгоните их, – сердито сказал епископ. – Они потому такие храбрые, что двор полоцкий тут рядом.

Кобелек, отважившись, затыкал в полный голос.

– А не то идите со всем Новгородом под нашего князя Всеслава, – не унимались наглые рожи. – Он послушных не бьет.

– Сперва из поруба пуццай выберется, если не сгнил там еще.

Двое Стефановых холопов тоже озверели, морды перекосили и повынимали мечи из ножен. Полоцкие разбежались вокруг по одному, приплясывали от нетерпения. Вытащили кистени, у одного в руках явилась дубина. Подготовились заранее. Видно, что обучены драться. Кистенем сразу зашибли одного из холопов, стащили с коня, подобрали меч. Второй сам прыгнул, прижался спиной к тыну, ощерясь, делал выпады.

Владыка отъехал немного и поймал за шиворот мимохожего парубка, глазевшего на стычку.

– Быстрее беги за сторожей.

Тот поскакал, сверкая голыми пятками.

Из-за тынов выглядывали головы, галдели. На улице останавливались поодаль боярские отроки, ремесленный и прочий люд, парубки.

Окровавленного холопа со смехом дожимали вчетвером, вот-вот оприходуют кистенем. Поглядев на его отчаянье, владыка учудил: подъехал ближе, вздыбил коня на задние ноги и обрушил передними на головы разбойников. Один упал и больше не встал, его прирезал Стефанов холоп. Трое, брызнув из-под копыт, с дикими криками забросили кистени, зацепили епископа ремнями с гирьками, скинули на брусью мостовой.

Пока боярские отроки с ближних дворов решали, вмешаться ли в дело, унять ли борзых холопов, нагрянула городская сторожа. Конные ратники со свистом разогнали толпу, оголили мечи. Двоих полоцких, замешкавших над побитым епископом, зарубили сразу. Последний, самый прыткий, добежал до пересечения улиц возле бревенчатой Мироньевской церкви. Здесь его нагнал вершник, коротко махнул мечом. Тело с разрубленной головой привалилось к тыну. Полоцкие бояре сегодня не досчитаются своего имущества.

Спрыгнув с коня, ратник вытер меч о холопью посконину, снова взлетел в седло. Короткая погоня доставила ему удовольствие, хоть и не стоил раб затраченных на него усилий. Надо же, удумали епископа в дорожной грязи извлекать. Совсем полоцкие ошалели. Без своего-то князя кому хорошо живется. Даже холопы дичают.

Вершник повернул коня назад, но вдруг натянул удила, провожая взглядом молодку. Женка из нарочитой чади, наряженная в паволоки и серебро, возвращалась с торго. За ней плелась холопка, позади пыхтели два парубка, тащили полные корзины.

– Гавша! – Дружинники из сторожи звали ратника, чтобы возвращался.

Он в ответ отмахнул рукой и шагом направил коня вслед молодке. Женка оборачивалась, с чуть заметной улыбкой цепляла молодца быстрыми глазами и то начинала спешить, то шла совсем медленно. Гавша слышал серебристое звяканье подвесок-рясен и ловил ноздрями аромат византийских благовоний. Лукавая баба брала с собой на торг слепую и глухую старуху-няньку.

Лишь у ворот, за которыми скрылась женка, Гавша догадался, за кем уволокся: признал усадьбу воеводы Перенег Мстишича. Княжий муж не так давно справил свадьбу, оженился вторым разом. Но, видать, плохо умел потешить молодую. Напоследок она неприметно кивнула ратнику и мгновение помедлила у открытой воротины.

Гавша спешил, увидев на мостовой под ногами коня нечто блеснувшее. Молодка украдкой потеряла серебряное рясо. Гавша усмехнулся: нужно вернуть его хозяйке. Веселый выдался день.

– Никак жениться сдумал?

Княжий отрок сжал в кулаке подвеску, обернулся. На него ясными глазами взирал поп Никифор, клирик церкви Богородицы Десятинной.

– На ком тут жениться, батько, боярин Перенег дочек не завел.

– А коли так, чего тут высматриваешь? Иль холопка какая ни то глянулась?

– Это, отче, не твое дело. Некогда мне.

Гавша хотел сесть на коня, но поп остановил его за плечо.

– Епитимью исполняешь, какую я тебе положил?

– Исполняю, а как же. Две седмицы мяса не едал, аж тошно стало.

– Оженишься-то когда? – помягчел клирик.

– А зачем? Мне и так хорошо.

– Ятрам твоим нехорошо, – строго сказал поп. – Не в свои стойла всё метят.

– Так это дело молодое, батько.

Гавша подтянул подпругу седла, нетерпеливо ткнул ногу в стремя. Глядел скучно.

– Смотри, поклоны бить в другой раз велю, – безнадежно погрозил поп.

– Ну и отобью.

– Женись, а? – ласково попросил отец Никифор.

– Так ведь бить буду, жену-то, – полувопросил Гавша.

– За что ж сразу бить?

– А за что ни то. Перво-наперво, чтоб тебе, отче, на меня не сказывала. Знаю же, как у вас, попов, заведено на исповедях выпрашивать.

Гавша взметнулся в седло.

– Муж и жена едина плоть, – объяснил клирик. – Оба несут единый крест.

– Ты, батько, скажи лучше, – отрок нагнулся к попу, – пошто мне брюхо свое мучить, коли душа не в брюхе?

– А как же еще вас, зверовидных, к кротости приводить? К душе дорога через утеснение брюха лежит.

Гавша подумал.

– Мяса две седмицы в нутро не кидал. А нынче, батько, я холопа зарубил.

Он вытянул меч и показал, как зарубил.

– Хрясь. Башка пополам. Во так.

Поп шатнулся от клинка.

– За раба по закону русскому не казнят, – сказал, помедлив. – Перед Богом тебе держать ответ. Покайся.

– Покаюсь, – равнодушно обещал Гавша и пустил коня вскачь.

4

После чтения «Шестоднева» Иоанна, экзарха Болгарского, отец Евагрий распустил учеников по домам. Сказал, что дьякон Ионафан захворал и занятий по греческому языку не будет. Мальчишки собрали вощаницы и писала в котомки, чинной гурьбой спустились с верхнего гульбища, а внизу разделились с шумом и толканьем. Поповские отпрыски и прочие, кто победнее, побежали вперегонки к воротам владычного двора. Боярские сынки и остальные из нарочитой чади отправились к коновязям, где поджидали холопы с куском пирога или ветчины в плетенке – чаду подкрепиться перед обедом. Верховод Коснячич собрал вокруг себя малую дружину товарищей и поджидал у лестницы. Несда, как всегда, спускался последним – не любил бестолковых забав, которые случались среди учеников после занятий.

Заметив шайку, он остановился на предпоследней ступеньке, посмотрел исподлобья. Коснячич был настроен как будто миролюбиво. Хотя улыбка на его присыпанном веснушками лице обещала мало хорошего.

– Иди, не бойся, – позвал сын тысяцкого. – Мы тебя не тронем. Ты нынче храбрец.

– Почему?

Несда спустился с лестницы, прижал крепче к боку котомку. Если все же станут бить, ни за что не выпускать ее из рук. Там драгоценная Псалтырь, да еще разобьют вощаницу, а в ней наспех, по памяти, записанный кусок «Шестоднева». Понравившийся. «И сего не разумеешь, откуда произошли человеческие образы, и чудно Божьему творению, как столь многочисленны личины, и нет ни одного человека, подобного другому. Если и до края земли дойдешь, ища такого же – не найдешь; если и найдешь, то будет или носом не похож, или глазами, или иным чем; даже и от единой утробы рожденные не походят друг на друга...»

– Здорово ты Евагрия разозлил, – улыбался Коснячич. – У него аж пасть дергаться стала и пятна по роже пошли.

– Я не... я вовсе не хотел.

– Он не хотел, – ухмылялась дружина. – Он Евагрия любит. Ученый осел.

– Цыц вы. Все равно он храбрец. – Коснячич придвинулся и закинул руку на плечо Несды. – Я с ним после этого дружить хочу.

От такой дружбы Несда ожидал лишь подвоха. Но руку неожиданного друга сбрасывать не стал.

– Правда? – спросил только, посмотрев в близкие глаза Коснячича.

– Правда. Пошли. Покажем тебе кой-чего. Да не бойся, понравится.

Дружина согласно кивала.

Всей компанией отправились по нижнему гульбищу вокруг храма. Тысяцкий сын держал Несду за плечи, будто боялся, что убежит. Говорил:

– Вот давно хотел спросить тебя. У тебя же батька купец?

– Купец.

– Лавку в торгу имеет, обозы с товаром снаряжает. Так?

– Так.

– А братья у тебя есть?

– Сестренка.

– Вот видишь. Единственный сын. Что ж тебя батька не оденет получше? Ходишь в поскониине, будто смерд или холоп какой.

– Жадный батька-то! – засмеялись в дружине.

– Не жадный, – твердо сказал Несда.

– Не любит тебя? Так если за училище платит, значит, любит.

– Любит. Одежда хорошая у меня есть.

– И чего? – не понимал Коснячич.

– Так, ничего. – Несда смутился. – Мне в этой удобнее.

– Вот соврал так соврал, – захохотал Коснячич, хлопнув его по спине.

Несде и впрямь захотелось убежать.

– Ну вот, пришли.

Коснячич остановился у одного из столпов гульбища.

– Гляди.

– Куда?

Несда стоял носом к опоре, но ничего не видел, кроме гладкой поверхности камня, из которого сложен собор, и розовой извести.

– Да вот же. – Коснячич показал пальцем.

Сперва Несда ничего не понял. Смотрел на процарапанный ножом рисунок и не мог разобраться в переплетении линий.

Потом, с дрожащими губами, обернулся. В глазах стояла изумленная обида. От волнения не мог выговорить слова:

– З... з... зачем?

– Это не мы, Несда, – невинно сказала дружина. – Мы просто нашли.

Кто-то, да отсохнут у кощунника руки, осквернил Святую Софию рисунком на тему «муж да любит жену свою». Или не муж. И не совсем жену.

– Зачем на храме? – выкрикнул Несда и сжал кулаки, будто собирался броситься на мерзко хихикающих обидчиков.

– Мы не знаем, – смеялись мальчишки. – Мы просто тебе показать.

– Мы думали, ты не знаешь, откуда дети рождаются, – громче всех заливался Коснячич. – Верно, думаешь, что их Бог в раю лепит из праха и в капусту подбрасывает.

Несда пытался затереть рисунок рукавом, но тот лишь четче обозначался.

– Что ты делаешь! – насмеялись боярчата. – Это же твой родич. Гавша. Это он. Точно он. С черницей сблудил. А митрополит за это виру с него. Сто гривен за порченную монашку!

– Дурачье, – скрипнул зубами Несда.

Коснячич перестал смеяться.

– Ладно, хватит, – бросил он дружине. – А то сейчас расплатится. Пошли митрополичье вино пробовать.

– Как это? – удивились мальчишки, тотчас забыв про Несду. – Какое вино? Кто ж нам его даст?

– Давеча церковное вино привозили. Целый обоз. Мне знакомый холоп сказал. Мой отец продал его митрополичьему тиуну за покражу. Он и у митрополита что хочешь стянет и продаст. Мне обещался. Ну что, идете? Я церковного еще не пробовал. У нас в доме только зеленое вино подают.

– Как же не пробовал? А в причастии? – спросил самый маленький мальчик.

– В прича-астии, – передразнил его Коснячич и щелкнул по макушке. – В причастии оно водой разбавлено, да еще с хлебом.

– А крепкое оно?

– Вот и узнаем. Ты с нами иди, – велел Несде тысяцкий сын.

– Никуда я с вами не пойду.

– Почему это?

– Церковное красть – грех.

– А не церковное? – криво усмехнулся боярич.

– Тоже.

Коснячич подумал и выпустил изо рта струйку слюны – под ноги Несды.

– Ну и иди отсюда, – сказал злобно. – Лоб не расшиби на молитве.

Мальчишки гурьбой двинулись в ту часть владычного двора, где стояли хозяйственные и кладовые клетки, житницы, медуши.

Несда стер ногой плевков, набрал в горсть земли, мокрой после долгих дождей, и принялся замазывать ею срамной рисунок.

«...Мало Ты дал ему, Господи, мало и взыщи с него», – твердил он свою давешнюю молитву о гордом и неразумном Коснячиче.

По чести сказать, не так уж мало Господь дал сыну тысяцкого. Боярин Косняч, имя которого в Киеве мало кто помнил, а звали так, по отчеству, владел селами, рыбными тонями на Днепре и на Лыбеди, бортями и собственными ловищами, держал в торгах с десятков лавок, отправлял торговые обозы аж в Царьград и в сарацинские Хвалисы. Сам новгородец, он и среди оттудошних купцов-гостей был свой человек, а уж новгородцы в торговле знают толк. А какие хоромы на спуске Горы поставил тысяцкий! Весь Киев, от Лядских ворот до Подола и Оболони, сбегался лупить глаза, завидовать богатству и чесать злыми языками.

Не любил своего тысяцкого киевский люд. И князю Изяславу не с добром припоминали, что, придя из Новгорода на княжение, посадил на шею Киеву чужака-новгородца. Да не его одного. Половина Изяславовых бояр оттуда же: Микула Чудин, брат его Туки, тоже чудин, оттого имя чудное, и прочие. Косняч хотя бы в сродстве с князьями – дед тысяцкого, Добрыня, приходился дядей князю Владимиру. А те чудины не знамо откуда и взялись.

В ратном деле, во главе городского ополчения, тысяцкому не довелось по сию пору проявить себя. Князья не затевали больших войн, степь только зубы казала. А в межкняжьих распри свободный люд не встречал, если его не касалось напрямую. В прошлом году, к примеру, Ярославичи сборной ратью ходили в Полоцкую землю, воевать буйного Всеслава, после того как он пожег Новгород. Полоняников из того похода привели тьму, на торжище их продавали в челядины по серебряной монетке за штуку. Весь Киев обогател живым имуществом почти задаром – своих-то ополченцев ни одного в рать не посылали.

Зато в городских делах тысяцкий являл себя многообразно, и все не в пользу горожан. Под свой зад тянул что ни попадя. Рассудить на торгу купца с покупателем – оба выходят виноваты, оба плати тяжёбный сбор. Двор на пустыре отстроить – измучишься кланяться волостелю подарками: возьмет, а про дело забудет. Снова возьмет, и опять запомнит. Потом уж, после третьего-четвертого подношения, вспомнит, выдаст грамотку с клеймом. Приплывут торговые гости с товаром – мыто плати за каждый день. Купцам – со всякой плевой сделки отсчитывай сбор. Мытари шастают повсюду, звякают свинцовыми печатями на поясе, острым писалом, как ножом, метят в горло. Сущие разбойники. Торговле от этого сплошь урон, Киеву бесчестье, тысяцкому – княжий почет и сказочные хоромы.

Несде про все это сказывал отец, щипля от досады бороду. А у отрока своя досада – нравный Коснячич. И к отчету делу, к торговле, душа не лежит. Душа у Несды исписана книжными письменами.

Он обтер руку о траву и порты, быстро зашагал к хозяйственным клетям. Возле бани, построенной греками, как всегда, толпились, ждали очереди. До сих пор каменная мыльня была горожанам в новину, хоть и давно стояла. Появилась еще при кагане Ярославе. Греки, известное дело, срубных русских бань не признают. Тесно им там и страшно задохнуться в дыму.

Завизжали бабы, верно, передрались возле бани. В задних воротах двора встала телега, груженная горой мешков, за ней вторая такая же.

– Кто таков? Что везешь?

Стражник оглядел мешки, потом возницу. Смерд со стриженной бородой, в безрукавой чуне из овчины и в сапогах слез с телеги.

– Посельский тиун из Мокшанского села. Недоимки с десятины привезли.

– Проезжай, – лениво дозволил кметь.

Несда коротким путем протиснулся между строениями, прошел мимо конюшни, оглядел кругом и узрел затаившуюся в яблонях дружину Коснячича. Яблоки уже пособирали, на высоких ветках висели одни недоспелки, и полакомиться дружине было нечем. У них на уме свербело другое. Несда, согнувшись, будто так его никто не увидит, добежал до яблонь и прыгнул в густую сень.

– Зачем явился? – набычился Коснячич.

Несда молчал, глядя в упор на тысяцкого сына. Тот вдруг покривил губы в улыбке.

– Винца захотелось?

Несда упрямо мотнул головой.

– А-а, – прищурился Коснячич, – выдать нас пришел?

– Вас выдерут, если поймают, – хрипло сказал Несда. – Тебя-то не тронут, а их... – Он кивнул на оседлавшую ветки дружину.

– И тебя заодно, коли уж прибег, – усмехнулся боярич.

Несда опять смолчал, беззвучно шевельнул губами. Если бы кто присмотрелся, прочитал бы снова: «Дурачье». Коснячич, сам не ведая, угадал его мысль. Несда не мог никому поведать о воровской вылазке, потому решил быть битым вместе со всеми.

– Идет! – раздался тоненький голос сверху.

Озираясь, к яблоням между клетями шел холоп с корчагой. Исчезнув на несколько мгновений, он появился с другой стороны, из-за ближнего амбара, торопливо нырнул под ветви, поставил корчагу на землю.

– Как договаривались, боярич.

Он протянул раскрытую руку. Коснячич пересыпал в холопью горсть три серебряные резаны.

– Только уходите быстрее, – посоветовал холоп, исчезая. – По двору сотник шляется. Не спится ему, видать...

Коснячич выбил из корчаги затычку и присосался к горлышку. Несда смотрел, как течет по его подбородку на шею и рубаху темно-багряная, будто кровь, влага. Кровь Матери Сырой Земли, добытая из заморской ягоды, превращаемая по действию Святого Духа в пречистую кровь Христову. Несда вдруг подумал, что за такое умствование отец Евагрий изломал бы об его спину свою трость, обругал бы идолопоклонником и дремучим сыроядцем. Старые боги не хотели покидать русскую землю, они были повсюду и против воли лезли в ум и на язык.

Коснячич утерся расшитым рукавом и протянул корчагу Несде.

– Пей!

Дружина взроптала. Тысяцкий сын не повел и ухом.

Несда взял корчагу и стал пить. Вино показалось кислым, с резким и неприятным вкусом, но если бы Коснячич не отнял корчагу, так и пил бы, сколько влезет.

– Хватит!

За корчагу ухватились прочие мальчишки, стали жадно хлебать, вырывая из рук, проливая и толкаясь. Вдруг кто-то крикнул:

– Сотник!

Корчагу в испуге бросили, кинулись кто куда: за амбар, мимо клетей, напрямик через двор. Несда со страху метнулся не в ту сторону. Головой угодил в упругий живот начальника владычной стражи и, словно клещами, был схвачен за шею. Он зажмурился и подумал, что сейчас умрет: в ногах разлилась противная слабость, земля качалась и плыла.

– Кто, говоришь, владеет селом? – прозвучал между тем вопрос.

– Федосьев монастырь, – ответил голос давешнего посельского тиуна, притащившегося с недоимками.

Несда приоткрыл глаз и увидел колесо телеги. Сотник, оказалось, и не думал ловить винокрадов. Он стоял посреди двора у клетей и разговаривал со смердом. Телеги уже разгрузили, на второй лупили подсолнушное семя два смердых холопа, шелуху робко складывали в торбу.

– Дорога туда какая? – расспрашивал сотник. Шею Несды он держал крепко, та уже принялась ныть.

Тиун с подробностями описал путь до села, не забыл упомянуть битую молнией сосну у росстани и шаткие мостки через безымянный ручей.

– Небось и колдун в селе имеется?

– Колдун? – посельский почесал под рубахой. – Дак утопили колдуна о прошлом лете. Сено не сберег, все погнило от сырости... А так-то... знахарь есть. Иные бают, тоже колдун, так я тому не верю, а сам-то он не сознается. Бабы-ворожейки имеются, как без них. Да чернец ходит, из монастыря.

– Тоже, что ли, ворожит? – усмешливо спросил сотник.

Несда вспомнил его имя – Левкий, по прозвищу Полихроний. Родом исаврянин, из греческих земель, и по-гречески звался не сотником, а комитом. Под рукой комита была вся Софийская дружина, сторожившая покой митрополита и церковное добро: дворские отроки, гриди, мечники, вирники, сборщики владычных даней и прочие кмети. Левкий всегда ходил с коротким мечом, носил узкие греческие порты, расшитые узором, и богатые византийские рубахи, звавшиеся туниками. Курчавую голову никогда не покрывал и, от природы смуглый, летом под солнцем темнел дочерна. Тогда делался похожим на ефиопа, которого Несда видел однажды в торгу среди прочего товара, завезенного ромейскими купцами.

– Ворожейство у них, у чернцов, темное, – принялся толковать посельский, – простому человеку не внятное. Все шепчет да бабьи бусы в руке щиплет. Потом глаза закатывает. Вот так. – Тиун сделал страшную рожу, как у покойника. – И ходит ровно нежить. Тихо так крадется, а сам хватъ – и на дно-то утянет.

– Что – хватъ?

Клещи на шее Несды сжались сильнее. А в голове будто кувыркались пьяные скоморохи.

– Ну это я так, для примеру. Нежить она и есть нежить... Еще дуб священный в лесу стоит.

– Где?

Рука сотника внезапно разжалась. Несда чуть было не упал на карачки. Шатнувшись, почувствовал свободу и, заплетая ноги, побежал – опять не в ту сторону. Остановился, увидел впереди растворенные воротины и устремился к ним.

В конюшне никого не было. Кони хрустели овсом, шумно летали мухи. Несда ушел вглубь, туда, где было темно и прохладно, упал на гору сена, зарылся. Хмель в голове прекращал скоморошью пляску, зато налил свинцом веки и явился во сне нежитью в черной монашеской рясе. Нежить сидела в ветвях дуба, хихикала и бросалась желудями.

Потом он проснулся. Совсем рядом кто-то бубнил вполголоса:

– ...все равно как... лишь бы тихо. Утром его найдут, но вы будете уже далеко.

Несда узнал заморский выговор софийского комита.

– Мудрено будет – чтоб тихо... – Другой голос был грубее и громче. – Пискуп Степан полночи пред образами свечи палит и лбом об пол стучит. Добавить бы надо... за труд.

– Добавлю... потом, как сделаете. Что-нибудь сообразите вдвоем.

– Это ж когда – потом? К тебе, что ль, поскребстись опосля?

– Вот этого не надо, – жестко ответил сотник. – Есть место... Верстах в двадцати от Киева. Сельцо Мокшань. В лесу найдете священный дуб, там будете ждать.

– Обманешь, боярин?

– Какой я тебе боярин, холоп?! – Комит недовольно возвысил голос. – Меня сам протопроедр Михаил Пселл представлял в Палатии императору Константину Дуке!

– Ну не сердчай, ошибся маленько... – повинился тот, кого называли холопом. – А кто этот – проед осел?

Левкий не ответил на вопрос. После долгого молчания, он сказал:

– Если к утру новгородский епископ будет мертв, получите еще десять гривен серебром.

Несда одеревенел от неподвижности. Сильно хотелось есть, но он боялся пошевелиться еще долго после того, как в конюшне все стихло. Сердце кузнечным молотом билось в горле.

Ему стало жаль новгородского владыку, которому зачем-то и почему-то надо было умереть. Он понял только одно – за епископа следовало усердно молиться, чтобы Господь отвел руку убийцы. Или же облегчил страдание, а после принял в свои объятия блаженную епископову душу.

Отрок выбрался из сена, выскользнул во двор. Двое холопов выбивали пыль из лежалого тряпья. Гремел ключами ключник, раздавал работу прочим рабам. Несда во всю прыть, словно земля горела под ногами, помчался к Святой Софии. У главного входа остоялся, положил три креста с поклонами и тут попался в руки дядьке Изоту. Кормилец проглядел все глаза, поджидая его из училища, теперь же дал волю попрекам и холопым стенаньям, потянул к коновязи. Несда вывернулся, бросил на ходу:

– Ступай домой без меня. Приду сам позже.

Хоть и знал, что дядька один не воротится.

В огромном храме было пусто. Горело несколько свечей у алтаря, ползал служка, обтирая полы. Несда не верил, что где-то еще на свете есть такая роскошь и лепота, которая затмила бы богатства Святой Софии. Князь Ярослав, затевая храм по образу и подобию царьградского, верно, постарался переплюнуть греков-учителей. А уж константинопольские цари тысячу лет живут в роскошествах, понимают в красотах толк. Фрески и мозаики, покрывавшие стены собора, можно было разглядывать без счета времени. И всякий раз замирать, открывая прежде недоступное очам и разуму. Вспоминать похвалу великому кагану Владимиру и его сыну Ярославу, изреченную двадцать лет назад митрополитом Иларионом:

Он дом Божий великий Его святой премудрости создал
на святость и священие граду твоему,
его же всякой красотой украсил,
златом и серебром, и камнем дорогим,
и сосудами святыми.
Та церковь дивная и славная по всем окружным странам,
другой такой не сыщется во всем полуночье земном,
от Востока и до Запада.

О граде же Киеве, освященном премудростью Божьей, говорили письма, полукругом, будто радуга, накрывавшие заалтарный образ Богородицы: «Бог посреди него, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра».

Но теперь было не до мозаик и не до мраморной отделки. Несда встал на колени перед Божьей Матерью, без усталости державшей поднятые на века руки. Хотел начать молитву и вдруг заплакал.

Уже болели колени и ныла спина, горячие слезы иссякли, а слова молитвы не шли на ум. На плечо легла чья-то рука. Он обернулся, спешно утирая под носом.

– Ты хорошо молился, – сказал отец Никодим.

Несда не поверил.

– Откуда знаешь, отче?

– Я слышал. Теперь ступай, тебя ждут.

Несда пошел к выходу и целиком вверил себя заботам пестуна, изнывавшего от голода. Безропотно дал усадить себя на коня, сжевал сунутый в руки пирог, не разобрал вкуса.

– Щи опять стылые хлебать, – бурчал дядька Изот, поторапливая свою серую кобылку. – И перепадет же тебе нынче от родителя.

– За что?

– Да как же за что. А за бездельное шатанье?

– Отчего ты думаешь, что бездельное? – построжел Несда.

– Я-то вовсе не думаю, – присмирел дядька. – Не холопье это занятие. Родителю твоему думать.

5

Двор купца Захарья стоял на речке Киянке в Копыревом конце, недалеко от Гончарного яра. Здесь же по соседству шумело торжище, одно из нескольких в Киеве. По праздникам там вертелись колесом скоморохи, давали кукольные представления и водили на цепи мишку. Вокруг было много пустоши, где гуляли гуси, выпасали коз, овец и коров, косили сено. Князь Ярослав строил свой город с большим запасом, на вырост, стенами широко обвел: плодитесь и размножайтесь, киевские люди, копите добро.

Щедрый был великий каган Ярослав, людей из других русских земель тоже звал на поселение. Освобождал на первых порах от мытных сборов. Еще и после него князь Изяслав Ярославич так же правил, щедро и христолюбиво. Это уж потом он своих бояр распустил, и процвело всюду лихоимство. А три лета назад было в небе знамение: звезда великая, с лучами словно кровавыми. Семь дней видели ее после заката и не к добру толковали. И верно: Все-славу стукнуло в голову идти на Новгород, лить кровь. После же того как его побили и заточили в порубе, князя Изяслава то ли старость одолела, то ли случилась иная причина: не стало от него Киеву ни единого доброго слова. Через бояр и мечников разговаривал с человеком, правил через волостеля немилостивого, тысяцкого Косняча.

Захарья еще в доброе время пришел с сыном из Ростова в Киев. Двор поставил, жену новую привел, торговлю завел, Несду в училище отдал – в купцах грамота первым делом нужна. Жить бы не тужить. Только сын начал выкидывать странности. В сукно и тонкие ткани рядиться не желает, упрямо ходит в посконных портах и беленой рубахе. Хорошо, не в лаптях. Однако и сапоги из ларя вынимает только по указке. Обычно же таскал кожаные поршни – новые не брал, пока не издерет до дыр старых. Верхом в училище и обратно ездить не хочет, бегают ногами, а за ним дядька ведет в поводу коней. На торг его не заманишь, а ежели приведешь силой, так удерет в книжную лавку – разглядывать картинки на пергаменах. Из училища приходит с побитой рожей, а меч, хотя б деревянный, в руках держать по сю пору не научился.

Бесталанный у меня сын, горевал Захарья и поглядывал на жену: когда принесет другого наследника. Пять лет прошло, а в приплоде одна девка. В этом году, правда, живот у Мавры округлился, и повивальня заверяла: сын будет. Захарья на радостях занялся бабьим делом: ставил на окно и во дворе кашу для Рода и рожаниц. К малопонятному Христу он бы не смог лезть с такими просьбами – разрешиться бабе от бремени и чтоб ничего худого с дитем не случилось. Старые боги ближе, домашнее, за кашу или петуха у них не зазорно просить что душе угодно.

...Дядька Изот зря пугал: за позднее возвращение Несде не перепало от отцова недовольства. Захарья был в торгу или на пристанях: на днях отправлял с шурином, безруким Данышей, свой первый обоз до Корсуня. Зато в доме гостил другой шурин, Гавша. Меч на лавку скинул, лазоревую свиту с себя стянул, вышитый ворот у рубахи ослабил, буйные кудри на глаза уронил, щеки хмельным медом разрумянил. Несда зашел в верхнюю горницу – так и залюбовался неволей. Девки же от красавца Гавши сходили с ума. А про замужних вовсе срамное говорили: будто они рубахи обмачивают от горячих Гавшиных взоров. Несда, правда, этому не верил и разговоров таких не слушал.

Гавша зашел неспроста – ему хотелось похвастать. Глотая кашу из брюквы с мясом, Несда слушал про нападение полоцких холопов на новгородского епископа, про то, как владыку непочтительно поваляли в грязи, а потом прискакал Гавша и порубил озверевших холопов. При том разбойники сами были с дубинами и рогатинами, чуть не завалили Гавшиного коня. Пятерых он сразу отправил к предкам, еще троих пришлось ловить – гнал коня от Горы аж до самой Святой Софии.

Все это Гавша описывал весело и в лицах. Когда пришел Захарья и сел за стол, он повторил рассказ, пересыпав новыми деталями и посолив подробностями про епископово валяние в навозе.

Захарья сыто отодвинул от себя пустое блюдо, отряхнул с бороды крошки.

– Полоцким нужно Всеслава из поруба вытянуть. Против Изяслава на Подоле уже ходят толки, будто плохой он князь и нужен другой. Кто толки распускает? Вестимо, полоцкие. На Лысой горе новое капище объявилось. Какие волхвы там огонь держат и требы кладут? Полоцкие, слышать. Сам туда не ходил, другие носили – кто гривны, кто животину. От дождей жито гибнет, скот зимой без корма останется, так самое время к волхвам идти... Полоцкой дружине только случай нужен, чтоб в Изяслава зубами вцепиться и Киев на прю с князем поднять. А с епископом, думаю, это так, силы пробуют. Князя злят.

Гавша посмотрел Захарье в глаза, весело и жутковато спросил:

– Ну а если... вцепятся и рвать начнут... ты-то, зять, на какой стороне будешь?

Захарья налил в кружку пива, медленно выпил, обтер усы. Несда догадался: не знает, что ответить.

– Я на своей стороне буду.

Гавша нацедил себе еще меду, подергал на шее гривну. То ли проверял, крепко ль держится, то ли не привык еще носить дружинный знак.

– Оно-то, конечно, на своей. Да вот же незадача, своя сторона – она между князьями не бывает. Она или с одним, или с другим.

Захарья снова надолго умолк, остановил взгляд на выпуклом животе Мавры и разом обмяк. Затешилось что-то в его глазах и потекло, как расплавленный воск.

Несда потупился. Он чувствовал: беременность мачехи вносит в их дом нечто новое, чего пока нельзя угадать, но от чего заранее волнуется в жилах кровь. Если у него будет брат, он сможет отдать ему все деревянные мечи, ножи и игрушечные луки со стрелами, которые так и не нашли применения... и больше не слышать укоров отца. И забыть о ненавистной торговле. Уйти в сторону, забиться в щель, чтобы о нем забыли и не мешали... читать книги.

Гавша тоже смотрел на плодоносное сестрино чрево и тоже млел, но совсем по-иному. Несду вдруг напугало его лицо – на нем было выражение дикое и страстно жадное.

– Гавша, – позвал он, тупя глаза в стол, – хороши ли у новгородского владыки Стефана гриди?

– Для чего спрашиваешь? – Захарья отвлекся от созерцания беременного живота и устался на сына. Прежде тот никогда не задавал таких вопросов.

Несда зарозовел щеками.

– Хочу знать, почетная ли служба – охранять епископа.

Первый раз в жизни приходилось лгать, да кому – отцу. От переживания у него заалели даже уши.

– Служба почетная, но тебе ее не видать, – насмешливо сказал Гавша, – с твоим умением ронять из рук оружие.

Тщетно обучавший младшего родича воинскому делу, он давно понял, что тот заслуживает лишь презрения.

– А гриди у епископа хорошие? – упрямо повторил Несда.

– Пока он в Киеве, его охраняет митрополичья дружина.

Несда поник, но вдруг поднял голову и решительно сообщил:

– Я хочу научиться владеть мечом... и всем остальным оружием.

Захарья смотрел на сына, как древний Валаам на свою заговорившую ослицу. Надо же – жареный петух закукарекал!

– Ну пойдем, – хмыкнул Гавша.

Спустились вниз. Несда стал рыться в скрыне с деревянными игрушками. Гавша покачал головой.

– Бери мой.

Несда опасливо взял тяжелый стальной меч из Византии, с травленным узором на клинке. Немножко помахал.

– Не маши, это не дубина, – сказал Гавша.

Сам он вооружился мечом Захарьи, купленным у магометан в Хвалисах. На булатной стали голубым разводом туманился рисунок металла, навершие рукояти было в форме змеиной головы. Этот меч был предметом вожделения Гавши и гордости Захарьи – а также тайного стыда: купец носил меч на поясе в виде украшения доблестного мужа, а не как боевое оружие. Применить его в бою он бы не смог. Несда всего лишь унаследовал его слабость. Потому обязан был преодолеть ее.

Вышли во двор. Гавша показал, что нужно делать. Несда не успел ничего понять, как меч вылетел из руки и шлепнулся в лужу. Дядька Изот достал, обтер, жалостливо посмотрел на дитё. Гавша объяснил еще раз, но едва скрестили клинки, Несда опять потерял оружие.

Гавша обругал его, отобрал меч и ушел в дом. На том обучение чада ратному ремеслу завершилось окончательно.

Кормилец, бывший смерд, когда-то хаживавший с княжьей ратью в степь на торков, утешал как мог:

– Ничего, жена и такого любить будет...

6

На закате Лядские ворота Киева выпустили две телеги и закрылись до утра. Посельский тиун из Мокшани был навеселе. Он хлебнул меду на постоялом дворе и не боялся пуститься в дорогу на ночь глядя. Холопы, которым не досталось меду, уговаривали обождать до рассвета. Тиун, именем Прокша, на них цыкнул, рыгнул, пустил ветры. Парубки выслушали и подчинились. Холопья доля несладкая, особенно если ты холоп у смерда.

Дорога шла у холмов вдоль Днепра. Днем она была людная. Впереди стояло княжье село Берестовое. Дальше обосновались Феодосьевы монахи. Через две версты от них князь Всеволод Ярославич отстроил свой двор, за приятность глазу прозванный Красным. Само же место называлось Выдубичи. Это оттого, поговаривали, что здесь выдыбал из реки свергнутый в Киеве идол Перуна. Хитрый князь Владимир, увлекший Русь в новую веру, велел сбросить идола в Днепр и не давать ему нигде пристать к берегу. Идол же всех перехитрил, и оттого те, кто верен старым богам, и теперь еще ходят туда на поклонение. Другие же говорят, что зря ходят, идол совсем не здесь вышел на берег, а далеко, за днепровскими порогами, в том месте, которое зовется Перуньей отмелью.

Ночью все, что двигалось по дороге, становилось добычей татей. Парубки на второй телеге жались друг к дружке спинами, вздрагивали от шороха камушков под колесами, от криков и хлопанья крыльев ночных охотников. Посельский тянул под нос песню, но вдруг перестал. Хмеля в голове осталось мало, а дрожи в теле прибыло, и вовсе не от сырого ветра. Вдоль дороги чудились невнятные говоры, бормотанье, тихие пересвисты. Но конь шел ходко, светил круглый месяц, впереди показались очертания Берестового. Слышались уже трещотки и шелкотухи ночных сторожей. Прокша взбодрился, прикрикнул на холопов, чтоб не спали.

От княжьего села до жилья Феодосьевых чернецов ехать чуть более версты. Но здесь на посельского нападала всякий раз дрожь особого рода. Монахов на селе опасались. Они были чужаки, хуже мертвецов. От злых духов, упырей, навей знаешь, чего ждать. Их можно задобрить, упросить не пакостить. Монах же существо темное, непознанное, враждебное ко всему стародавнему житью-бытью, ко всем обычаям, издревле освященным. Прежде бабы страшали малых детей полуночницами и русалками, теперь хнычущее дитё остерегают чернецом. Радостям житейским монах не привержен, сам себя морит голодом и жаждой, на игрищах воротит нос и говорит поносные слова. Как такое человеку стерпеть?

На беду, Мокшань попала в монашье владение. Киевский боярин Климент, сдурев, задаром отдал село монастырю. Прокшу оставили в посельских, заключив новый ряд. Монахи и не подумали бы, до того ли им, – сам настоял. Доход, пусть и небогатый, терять не хотелось. Только вместо прежнего боярского тиуна-управителя в село теперь пешком ходит чернец Григорий. Распоряжается всем – какой повоз возить монахам на прокормление, сколько сушить рыбы, сколько сеять жита и льна. Священный дуб грозитя срубить. Да кто ж ему даст. Тут уж камень на шею и быстро в реку...

В лунном свете завиднелась верхушка деревянной церкви с крестом. За высоким тыном прятались кровли монашских жилищ. Сбоку к монастырю был пристроен отдельный двор – здесь привечали, кормили, лечили убогих и калек. Вот куда идет мокшанское жито – приبلудным нищebroдам. Прокша плюнул в сторону двора. И на монастырь плюнул. Оградил себя охранным знаком, призвал духов-покровителей.

В тот же миг на телегу плюхнулось нечто. Вслед за тем упало другое нечто. Прокша обмер – сразу почуял: оборачиваться не стоит.

– Езжай как ехал, – раздался сиплый голос, – и молчи.

В спину пониже левой лопатки остро ткнулся металл. Посельский сжался, разом холодея и потея, соображая, чем откупить жизнь у татей. Отдать яловые сапоги или коней. За одного

коня можно купить двух челядинов. А сколько стоила жизнь смерда – об этом не говорила даже Русская правда, которую от неча делать зачитывал сельским монах Григорий. Рабы ценились дороже. Впрочем, посельский все же мог рассчитывать на то, что его голова оплачивается выше холопей.

Между тем тати ничего не требовали, сидели тихо. Дорога шла мимо тына монастыря, иногда подходила вплотную.

– Подъезжай ближе.

Телега притерлась к ограде, тати, подпрыгнув, перелезли на тын. Прокша подождал немного и, не веря удаче, хлестнул коня. Жеребец всхрапнул и резво поскакал. За ним приударила кобылка, которой правили парубки. Вспомнив о холопах, посельский хотел похвалить их за то, что не подняли крика – иначе могло кончиться очень плохо. Он обернулся. Парубки дрыхли в телеге – так сначала показалось. Потом тиун увидел, что они лежат друг на дружке. Он натянул поводья, кобылка ткнулась мордой в задок его телеги.

Парубки были мертвы. Их по-тихому прирезали. Посельский, трясаясь от страха, подумал, что татей было не меньше трех-четырех. Теперь они орудуют в монастыре, но скоро полезут обратно.

Прокша вытянул поводья из рук мертвого парубка и, торопясь, привязал к своей телеге. Потом взгромоздился на жеребца. Станут догонять – обрезать постромки и уйти налегке.

Внезапно тиун насторожился. Вокруг разлилось желтоватое сияние, озарило дорогу, холм и лес впереди. Прокша оглянулся на монастырь и едва не свалился с коня. Деревянную церковь объяло зарево, будто огонь. Но то было не пламя, а непонятно что. Посельский схватился за связку медных оберегов на поясе, зашептал молитву-заклинание.

Церковь стала вытягиваться ввысь. Потом над тыном плавно взмыло крыльцо. Тиун с ужасом понял, что монашья молельня оторвалась от земли и поднимается. Сейчас же из нее донеслось пение многих голосов. Если бы Прокша не был перепуган до колотья в боку, пение показалось бы ему сладкозвучным, медвяным. Такое услышишь только в царстве Ирия, где растет корнями вверх солнечный дуб и живет чудесная птица Гамаюн, предвещающая счастье.

Перемахнувшие через ограду тати уже не были так страшны, как поющее зарево в вознесшейся молельне. Прокша без движения смотрел, как трое разбойников с пустыми руками бегут по дороге и прыгают в телегу.

– Гони!

Посельский очнулся и успел заметить, как церковь стала опускаться, а сияние гаснуть. Он ударил коня плеткой по крупу.

Когда монастырь пропал за лесом, один из татей, стуча зубами, спросил:

– В-вы видели т-то же, ч-что я?

– Что это было-то, а? – пришибленно сказал другой.

– Волхвы такого не умеют, – выдавил третий.

Тиун промолчал. У него сильнее всех тряслись поджилки.

7

Утром в почивальню князя Изяслава Ярославича принесли скверную весть. Содеялось злое: в собственной изложне ночью удушен новгородский епископ Стефан.

Князь пятый день, как отправил латынских послов, сговорив с ними об отправке невесты, маялся резью в печени. Лекари поили его дрянными горькими зельями, однако боль не унималась. Лечцы успокаивали: для исцеления нужен свой срок. Но все это время, Бог знает сколько, корчиться от страданий?! Ждать не было сил.

Нынче на обедне князь желал приложиться к чудотворным мощам святого Климента Корсунского в церкви Богородицы Десятинной, а затем причаститься Святых Тайн. Потому с вечера Изяслав старался пребывать в душевном мире и любить своих врагов. И вот – от мира в душе не осталось ни следа.

Врагов невозможно любить. Они плюют в душу как раз тогда, когда открываешь ее пошире. Для них же открываешь! Накануне перед иконой Господа князь дал обет освободить из поруба Всеслава, только бы ушла проклятая резь. Теперь он станет нарушителем клятвы, что есть великий грех. Ведь после случившегося обет никак нельзя исполнить. В убийстве епископа виноват, конечно, Всеслав, больше некому.

Вчера князю донесли о стычке полоцкой челяди со Стефаном. Сегодня епископ мертв. Полоцких дружинников стало слишком много в городе. Они чувствуют себя здесь хозяевами. Их надо примерно наказать.

– Кого подозревают? – спросил Изяслав, морщась. Постельничий натягивал ему на ноги сафьяновые сапоги и чересчур дергал, тревожа больной бок.

– Пропали два раба из челяди епископа, – ответил тысяцкий Косняч. – Их ищут. Верно, князь, холопов подкупили Всеславовы бояре. И прятаться они могут лишь на полоцком подворье. Желаешь ли покарать зло?

Изяслав стоял с вытянутыми руками – постельничий шнуровал на запястьях зарукавья.

– У тебя ведь, боярин, – прищурился князь, – я слышал, своя обида на полоцких?

– Обида немалая, – нахмурился Косняч, – тяжело мне об этом говорить, прости, князь.

– А ты не говори. Ты делом скажи... Ты вот что сделай, Коснячко: возьми мою младшую дружину да ступай к полоцкому двору. Пошуми там, ворота выломай. Боярам, какие в руки попадут, бороды повыдери...

Изяслав сел на ложе, схватился за правый бок и громко простонал.

– Лекаря! – громыхнул в раскрытые двери Косняч.

– Не надо, – с мукой в лице прошептал князь. – Поят какой-то дрянью, никакого облегчения от нее.

Тысяцкий кулаком выпихнул из почивальни прибежавшего лекаря.

– Князь, благодарю за честь. – Косняч приложил руку к груди и легко поклонился. – Но дозволю поправить тебя. Видно, ты запомнил, что у твоей дружины воевода – боярин Перенег.

Изяслав махнул рукой:

– Пуцай он с молодой женой забавится. Тебе поручаю. Так и скажи отрокам – князь велел, а то еще не сговоришь их... У тебя дело покуражистей выйдет. Наказать полоцких надо, чтоб знали... – Князь тяжело дышал. – Холопов-душегубов пусть выдадут... А не захотят, ты уж там побушуй, двор разори... А может, их всех – в поруб? Как Всеслава?

Князь, кривясь от боли, усмехался. Коснячу мысль тоже понравилась.

– А можно, – кивнул. – И волхвов в Днепре утопить.

Изяслав хрипло прокаркал – смеялся.

– Одного, пожалуй, утопи... Да не в Днепре, а там же, в бочке... чтоб людей не смущать. Не хочу злодеем прослыть. Еще подумают невегласы, будто я веру христианскую силой утверждаю. – Приступ прошел, князь медленно распрямился. – Прочих же отпусти с миром. Что их чудесы против Господа?

– Как велишь, князь.

Изяслав встал, облачился при помощи постельничего холопа в летнюю бархатную вотолю и веско молвил:

– Всеслава сгною в порубе. Пускай его мои дети или внуки оттуда выведут и в чернецы постригут, как я с братьями нашего дядю Судислава Владимировича из темницы освободил, отцом моим заточенного. Двадцать четыре года томился в яме! Согнутым старцем вышел...

...Полоцкое подворье, называемое Брячиславов двор – по имени отца нынешнего полоцкого князя Всеслава, – построилось в Киеве при кагане Ярославе. Всеслав пошел в батюшку – такой же неугомонный и рукастый, готов прибрать все, что не им положено. Брячислав некогда тоже поспорил с князем Ярославом за Новгород и прочие земли. Нанял для войны пришлых варягов. Потом князья поладили миром. Поделили земли. Целовали крест, хотя Брячислав был суций язычник и знался с волхвами.

Двор себе полоцкий князь поставил на Горе, вблизи Софийских ворот. Завел здесь постоянную дружину. И стал двор бельмом на глазу у киевского князя. Пока Брячислав мирно старел, а его сын Всеслав радовался детским забавам, в Киеве было спокойно. Потом Брячислав помер, и Всеслав еще двадцать лет выжидал, когда можно будет поднять рать и посильнее досадить Ярославичам. А может, его подзуживали волхвы – обидно им было мириться с новой верой и с поруганием старых святынь. Всеслав же их слушал, потому что сам был рожден от колдовства.

Боярин Косняч сделал как было велено. По-быстрому собрал младших дружинников, раздал походное оружие – боевые топоры, луки. Отроки сперва недовольно фыркнули, что князь поставил над ними тысяцкого, но быстро смирились – забава предстояла знатная. Рать стремительно выступила к Брячиславову двору. Воевода Перенег и обидеться не успел. Он в это время таскал молодую жену за волосы и грозился воткнуть кол в зад тому молодцу, с которым она завела блядню. Как только узнает его имя.

Малая рать Косняча приступила к полоцкому подворью весело, с гомоном и пересмехами. Отрокам хорошего дела давно хотелось, на княжьем дворе службу нести скучно. И по окрестным селам урочную дань собирать – оно хоть и занятно, и себе не в убыток, но тоже простору для души нет. А с полоцкими дружинниками давно переругивались, теперь и повоевать можно.

От Косняча никто не ожидал такой прыти и решимости. Тысяцкий – не княжой воевода, а этот и городского ополчения ни разу еще не собирал. Но для прыти у боярина имелись причины. Пока готовились брать на щит Брячиславов двор, дружинники втайне от Косняча скалили зубы. Кто не знал ничего, тому рассказали, кто слышал краем уха, тому расписали в подробностях. Хотя таких было мало – из тех, кто лишь недавно воротился в Киев с дальней службы. Сватовство полоцкого боярина Килы к дочке тысяцкого смаковали даже на постоялых дворах и на торжищах.

Длилось сватовство с ранней весны. Косняч приказал уже и на двор не впускать Килиных сватов, и сторожевых псов завел. И дочка выходила из дома под охраной дюжины отроков, да и то редко, в церковь. Кила сперва терпел, потом грозил, затем стал поносно ругаться. От обиды под конец дошел до крайности. Исхитрился похитить девицу из-под носа у Коснячковых отроков. Но за свадебный стол ее не посадил. Девка тоже оказалась нравная и без родительского благословения пойти замуж не захотела. Кила вышел из себя, привязал тысяцкую дочку к дереву и на глазах у нее надругался над козой. После чего опозоренную девку в слезах, но в целости доставили к воротам Коснячковой усадьбы.

– А тысяцкий что? – давился от смеха дружинник, слышавший все это впервые.

– А что? Кила отсчитал ему пять гривен за умыкание девки. Да митрополиту двенадцать гривен – за блуд с животиной. А так по Русской Правде его дочку никто не позорил. Нету такого закона, чтоб за бесчестье козы как за срам боярской девки виру платить.

– Да-а. А дочку теперь, почитай, никто замуж не возьмет.

– Разве что вместо козы...

Так, с хохотом, обложили полоцкий двор, примерились к воротам. Сверху, из высокой теремной башенки-повалуши, с интересом глядели на внезапную рать Всеславовы бояре. Косняч начал с оскорбления – постучал мечом в ворота. Во весь голос прокричал:

– Великий князь киевский Изяслав Ярославич велит вам, полоцким боярам, выдать на поток двух холопов, виновных в убийстве новгородского епископа Стефана.

Из-за ворот тысяцкого обругали, а над высоким частоколом появилась голова отрока в островерхом шлеме.

– Великую же честь князь Изяслав оказывает холопам, – крикнул он насмешливо. – Целое войско снарядил!

– Отворяйте ворота, псы полоцкие! – рыкнул Косняч.

– А может, ты, боярин, жениха для дочки поискать тут пришел?

Разъяренный тысяцкий ударил мечом о колья стены – до наглой головы отрока не достал.

– Ломайте! – проревел он дружинникам, у которых плохо получалось прятать в молодые бороды ухмылки.

Полоцкий двор не крепостица, ограда – не срубная городьба, засыпанная изнутри землей, а простой частокол. Приступом брать подворье – совсем смешное дело. Но полоцкие кмети тоже исполчились. Едва Коснячковы дружинники ударили бревном в ворота, на них сверху, из повалуши и с кровель, посыпались стрелы. Кого-то сразу убило.

Отпор раззадорил княжих ратников. Укрываясь за щитами, они продолжали бить тараном ворота. С коней перелезали на частокол, прыгивали во двор и дрались мечом либо топором. Выцеливали из луков полоцких стрелков. Орали обидное. Косняч в шеломе и в чешуйчатой броне сидел на коне под самой стеной, куда не попадали стрелы, и яростно подбадривал отроков.

Ворота долго не продержались. Дружинники с ревом ворвались во двор, завязался ближний бой. Теснили друг дружку попеременно. Сперва смяли полоцких, придавив их к хоромам и к хозяйственным клетям. Затем полоцкие, вдохнув побольше воздуха, отбивали натиск и давили киевских ратников, скользивших в крови, спотыкавшихся о тела убитых и раненых.

Вне двора, за воротами тоже шла сшибка. Косняч оставил при себе два десятка кметей и ждал исхода боя. В это время от Софийских ворот прибежала толпа вооруженных градских людей и напала на конных дружинников. Те, разозлившись, быстро порубили половину, другую обезоружили и согнали в кучу.

– На кого руку подняли, холопье отродье?! – гневался тысяцкий.

– Прости, боярин, не признали...

– На торжище у Софии два волхва кричали, будто Всеслава в порубе порешили и двор его рушат.

– А вам, псы подзаборные, Всеслав кто – отец, брат или сват? – ревел Косняч.

– Так волхвы сказали, если Всеслава того... они мор на Киев нашьют.

Тысяцкий отрядил пятерых кметей:

– Привезите мне этих волхвов.

Между тем киевские дружинники загнали полоцких ратников в хоромы и дожимали там. Во дворе стонали раненые. Между клетей и в клетях пряталась полоцкая челядь. Несколько Коснячковых воинов сторожили полон – сидевших на земле злых, обезоруженных полоцких бояр и отроков.

Скоро из хором вытолкали еще полторы дюжины побитых кметей.

– Остальные в малом числе ушли через задние ворота, – сообщили тысяцкому.

Косняч приказал обыскать усадьбу, найти волхвов, не успевших разбежаться по торговым, и холопов-разбойников, из-за которых заварилось все дело. Челяди велено было прибрать мертвых и раненых, отделив наших от ваших.

И пошла забава.

Дружинники тащили из хором добро – оружие, броню, золотую и серебряную посуду, разную златокузнь, паволоки – аксамитовые, бархатные и тафтяные наряды, визжащих холопов. Выкатили из подклети две бочки ставленого меда и бочку зеленого вина.

Косняч, снявши шелом, учинил суд на полоняниками. Боярина Килы среди них он не нашел и сильно опечалился от того. Но тут же удовлетворился: велел захваченных полочан брать по одному и резать им бороды. А тем, которые при этом лаяли на тысяцкого хульными словами, – выдирать клещами. Наблюдая, как полоцкие бояре подвергаются страшному для мужа оскорблению, он обретал покой в душе. Родовая честь была восстановлена позором и посрамлением врага.

Дружинники, посланные обыскивать подворье, приволокли долгобородого седого старца в длинной, расшитой священными знаками рубахе. То был единственный волхв, на которого показала челядь.

– Других не сыскали, – сказали кмети, – и холопов, зарезавших епископа, не нашли.

– Где же они? – нахмурился тысяцкий. – Челядь опросили?

– Опросили. Говорят: чужих холопов не было.

– Хм, – задумчиво произнес Косняч.

Распотешенные дружинники выкатили еще одну винную бочку, вышибли верх. Затем подняли кудесника и осторожно опустили головой на самое дно.

– Испей, старче, повеселись с нами.

Отправленные на торжище кмети тоже вернулись ни с чем. Волхвы, пугавшие мором, исчезли так же внезапно, как и явились.

– Ну, довольно. Пора и честь знать, – сказал тысяцкий, садясь на коня.

Он оглядел разгромленное подворье и спросил, ни к кому не обращаясь:

– Не пустить ли красного петуха?

– Дерево отсырело от дождей, не займется, – ответил кто-то из дружинников.

– Ну и ладно, – передумал Косняч.

Дружина уходила с Брячиславова двора, отягощенная добычей. Сам тысяцкий ничего не взял из полоцкого имения, достаточно было того, что видел. Позади конной рати ехали телеги с ранеными княжичами кметями. В хвосте тащились полоняники – ошипанная полоцкая дружина и битые горожане, общим числом более полусотни. Отдельного поруба для них не сыскалось. Не долго думая, затолкали всех в темницу, где ждали княжьего суда душегубы, тати, конокрады и должники.

8

В полуденные часы на Феодосьев монастырь, также прозванный Печерским, спускалось безмолвие. Черноризцы расходились по кельям для отдыха, чтобы на ночной молитве не радовать бесов своей квелостью. Ведь тошно бы стало человеку, если б мог он увидеть, как ухмыляются гнусные бесовские рожи, когда удастся им навести на молящегося обильную зевоту либо изнеможение, чтобы заставить подпереть собой стену храма. Или того больше – погрузить в сон, производить в животе у него шумные движения, развлекать его ум усладительными картинками. Много всякого может придумать бес, воюя с человеком, а тем паче с монахом. Потому монастырские ворота от полуденной трапезы до вечерней службы наглухо закрывались и никого не впускали. Мирная, чуткая дрема окутывала обитель. Разве что келарь нарушит тишину, гремя замками клетей, где хранился снадный припас. Да с богадельного двора прилетит плач младенца либо вскрик какого-нибудь несчастного, одержимого бесом или хворью.

Игумен Феодосий никому не позволял нарушать монастырский устав, списанный им с греческого. Положено отдыхать – так и сиди, а не то лежи в своей келье и других чернецов не зазывай для беседы. Сам же Феодосий послабление душе и телу давал не часто, даже спал всегда сидя, а умывался лишь утренней росой, зимой же снегом. И для беседы, если она требовалась чьей-то душе, не выбирал времени.

С утра в монастырь приехал боярин Янь Вышатич, воевода черниговского князя Святослава Ярославича. Отстоял службу, потрапезовал с монахами рыбой и чечевицей. После изъявил желание побеседовать с игуменом в келье о духовном.

– Древние отцы говорили: воин, идя в бой, не заботится о том, будет ли ранен или убит другой, но думает только о своем подвиге, – размеренно лилась негромкая речь Феодосия, – так и монах должен поступать. Но я так не могу. Другой, монах ли, мирской ли, дороже мне меня самого. Потому и монастырь этот я созидаю не для черноризцев лишь, но и для мира, для всей Руси. Всякий может сюда прийти и получить духовное утешение.

– Да и не только духовное, – сказал Янь Вышатич.

– По мере сил наших и молитв помогаем сирым и убогим, – согласился игумен. – Вот ответ на твой вопрос, боярин: я, худой раб Федос, от мира по своей воле скрылся в подземной келье и снова, но уже через принуждение, вышел к миру.

– Через принуждение?

– Если бы я стремился к миру без принуждения, я бы не был монахом. Чернеческое житие таково – всегда и во всем делать себе принуждение.

– Только ли чернеческое должно быть таким? – жадно спросил боярин.

Феодосий внимательно посмотрел на него.

– А ведь я, мнится, знаю, о чем ты спрашиваешь. Только не совсем пойму: ты, боярин, хочешь себя принудить оставить бесплодную жену и взять другую или та, другая, для тебя принуждением будет, чтобы только детей с ней родить?

– Смеешься ты надо мной, отче, – через силу улыбнулся черниговский воевода.

– А ты и сам над собой смеешься, когда слушаешь лукавые советы и думаешь принять их. Разве это добрые друзья говорят тебе развестись с Марьей, которую ты любишь всей душой? А то и не разводясь, привести в дом наложницу? Каково будет твоей жене, прожившей с тобой всю жизнь, видеть на мужнем ложе молодую девицу? Разве добрый друг не подумал бы прежде об этом?

– Прав ты, Феодосий, нет у меня друзей. – Боярин в тоске опустил голову. – И обо мне тоже никто не подумает.

– Не гневи Бога, Янь Вышатич. Есть кому о тебе думать. Да и Марья твоя любит тебя. Вместе и живите как Господь даст. А дети... – игумен задумался, теребя кипарисовые четки. – Дети по Божьей воле родятся, а не по людскому хотению.

Снаружи кельи возгремел молодой густой голос:

– Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

– Аминь, – отозвался Феодосий. – Входи, брат Григорий.

Вошедший чернец доставал головой до потолка кельи и еще пригибался. Он был нескладен, кучеряв, с редкой бороденкой, не успевшей по молодости как следует вырасти. Низко поклонившись игумену и отдельно боярину, молвил:

– Из села я, из Мокшани, отче Феодосий. Беда стряслась. Беда и еще полбеда.

– Что ж прибежал? Сам не справишься?

– Не справлюсь, отче.

– Ладно, ступай пока, видишь, гость у меня... Постой-ка. Как ты в монастырь попал, если я велел ворота днем не отпирать?

– Прости, отче, – Григорий пал на колени и ударил лбом в земляной пол, – я через стену перепрыгнул.

– Экий ты безобразник, – пожурил его Феодосий. – Ну да с твоим росточком... Ступай. Монах принял благословение и скрылся за дверью.

Янь Вышатич посмеивался в бороду, наполовину седую. Настроение его заметно поднялось.

– Что же такого молодого на село посадил, отче игумен?

– Григорий и разумен, и духовен с годами будет. Молодость ему не помеха.

Боярин стал серьезен.

– Тебе, Феодосий, открыто будущее. Что будет с Русью?

Игумен смотрел в крошечное окошко кельи, затянутое бычьим пузырем.

– Отчего спрашиваешь, Янь Вышатич? – повернулся он к боярину, глянул остро.

– Тревожно мне. Князя Владимир и Ярослав на великий киевский стол через кровавые свары с братьями сели. Ярославичи пока в мире живут. А вдруг перессорятся? А сыновья их и внуки? Как полоцкий Всеслав, будут города друг у дружки жечь? Слышал ты, какой наемни погром в Киеве, на Брячиславовом дворе, учинился? Давеча и знамения были в солнце и в звездах. К добру ли все это?

Феодосий покачал головой, в которой было не так много еще седых волос. Игумен оставался крепок, хотя давно подступала старость.

– Не к добру, боярин. Быть бедам. Как не быть им. Что с Русью будет, спрашиваешь. Так ведь нет ее, настоящей-то Руси.

– Как же нет?! – изумился Янь. – Ведь Иларион-митрополит сказал о ней: не худая и неведомая страна, а ведомая и слышимая всеми четырьмя концами земли! И когда еще сказал – при князе Ярославе!

– Иларион далеко смотрел. Мудрец он был и книжник, разумом в поднебесье летал. Очертания грядущего зрел. Ныне же Русь – тесто сырое. Месить его надо, долго, чтоб взошло как надо. Да не задохнулось в квашне, не скисло и не прогоркло. А то ведь как бывает... Позапрошлым летом рыбаки вытащили неводом из Сетомли утопленного младенца. Страшненький был ребеночек, и рассматривали мы его целый день. Срамные части на лице росли, а прочего не буду тебе и описывать. Опять его в реку бросили, от греха дальше. Тесто-то Божье, а замес бесовский получился, срамной.

– Кто же русское тесто месить будет? – спросил Янь.

– Все. Господними руками все будут – от князя до смердов.

– Какой прок от смердов? – Боярин наморщил высокий открытый лоб. – Они по сю пору в древнем язычестве пребывают. Русь же христианской должна быть.

Феодосий помолчал, четки в его руках водили хоровод.

– Как жив князь Святослав? – вдруг спросил он.

– Слава Богу. Здоров, весел. На ловища ездит. Пирует. Как говаривал князь Владимир, веселие Руси есть пити.

– И волхвы-песнотворцы, Велесовы внуки, на пирах тех поют? Вещий Боян не в княжем ли тереме приют обрел? Так ли уж одни смерды в поганстве живут? Со смердов-то спрос меньший, чем с князей.

– Непокойная душа у Святослава, – вздохнул боярин, тоже не любивший песельников, кормившихся при дворе Святослава. – Тоска его гложет, что первее Изяслава не родился и что не совершил великого, как прадед – князь Святослав Игоревич.

– А если б мог, как Иаков у Исава, отобрать первородство, – взял бы?

– Взял бы, – не думая, ответил Янь. – И не погнушался бы ничем... Оттого и тревожно мне, отче.

– Ничего, боярин, ничего, – успокаивал Феодосий, – отстоится тесто, поспеет наш пирог. Когда-нибудь. Верь в это и будь мужествен.

– Сколько же лет нужно?

– Лет? – едва заметно улыбнулся игумен. – А может – веков? Может, и через тысячу лет Русь еще не дойдет?

– Да что ж так?! Что за пирог-то будет?

– А какой Господом задуман, такой и будет. Ну, давай-ка я тебя благословлю, боярин. Брат пономарь скоро к вечерне ударит. Марье от меня подарочек передай. – Феодосий сунул в руки Яню Вышатичу образок Богородицы. – На Святой земле, у Гроба Господня освящен.

– Благодарю, отче, что не забываешь нас, молитвами твоими не оставляешь.

– Ну, езжай с Богом, боярин. Скоро вновь свидимся.

– Да я как будто... – удивился Янь и просветлел: – Неужто в Чернигов поженуешь, отче? Князь Святослав тоже рад будет видеть тебя. Жалеет он, что такого светоча, как ты, в его земле нет.

– Не светоч я, а худой раб, обо мне ли князю радоваться?

Феодосий первым вышел из кельи. Янь Вышатич простился с ним, сел на коня, подведенного боярским отроком. Игумен велел привратнику открыть ворота. Когда боярин уехал, Феодосий отправился на поварню, посмотрел на нового послушника, рубившего дрова. Послушник выглядел зверовато: борода и волосы косматы, одежка грязна, кой-где пятна будто кровавые, руки узловатые, огромные. Работал же старательно.

– Как тебе новый работник, брат Павел? – спросил Феодосий у повара, раздумывавшего над парящим котлом.

– Не нарадуюсь, отче. С виду страшон, поначалу так даже напугался я, какого ты мне медведя привел. Теперь же думаю, добрый чернец будет. К послушанию, видно, привычный. Откуда он к тебе пришел?

Феодосий пожал плечами.

– Из разбойников.

Повар уронил в котел поварешку.

– После того, что ты сейчас сказал о нем, – улыбнулся Феодосий, – разве пристало тебе вновь пугаться? Это Божье создание раскаялось в своих грехах. Он плакал как ребенок, когда рассказывал мне о своей прежней жизни.

– Не сочти праздным любопытством, отче, – брат Павел обрел дар речи, – но ради назидательности скажи мне, что подвигло его раскаяться?

– Он с двумя товарищами хотел ограбить ночью монастырь. Почему-то все разбойники в округе думают, что здесь хранятся богатства. Они хотели залезть в церковь, но Господь не

дал им этого совершить. После того они в страхе убежали. Один из них вскоре пришел ко мне, решив отныне поселиться в обители и работать на братию.

– Всю ночь до рассвета сегодня буду молиться Богу, сотворившему такое чудо, – возразился повар.

– Да ты ведь и без того до утра бодрствуешь в келье, брат Павел.

– Нет, отче, грешен – иногда я смыкаю очи.

Феодосий ушел из поварни и отправился искать Григория.

9

В тот час, когда день уже кончился, но сумерки еще мешкают спуститься на землю, из монастыря вышли двое. Они были в дорожных вотолах из грубой дерюги, в накинутах на головы клобуках. Один, долговязый, нес на плече котомку. Другой, тоже не низкого роста, кроме деревянного посоха ничего при себе не имел. То были игумен Феодосий и чернец Григорий.

Перед вечерней молодой монах повестил настоятелю про полторы беды, случившиеся в монастырском селе.

Полбеды было в том, что в общинном хлеву Мокшани завелась нечистая сила. Невидимые бесы куражились: мучили скот, не давали есть и пить. Смерды сперва, как водится у них, кликнули баб-ворожей, но толку от бабьих шептаний не было никакого. Позвали бы и колдуна – да того год назад утопили в реке. Тогда вспомнили, что есть еще монах, пускай хоть этот с осерчавшим хлевинником как-нибудь, своими способами договорится. Григорий обрадовался, что сможет показать сельским язычникам силу креста Господня. Рьяно взялся за дело: много раз читал молитвы и кропил в хлеву святой водой. Смерды, угрюмые мужики, с сомнением наблюдали и наконец обругали невнятное монашье колдовство, а Григория едва не побили. Бесы же стали еще злее нападать на скот – заставляли коров скакать на месте, а овцы бегали в загоне кругами.

– Вот и пришел я к тебе, отче, – сказал молодой чернец, – потому как ты, я знаю, много раз прогонял эту нечисть в самом монастыре.

Теперь, по дороге, Феодосий рассказывал в поучение, как ему приходилось прежде терпеть дьявольские козни.

– Вот как-то ночью пел я в келье псалмы. Это еще в то время было, когда монастырь под землей находился и жили мы в пещерных кельях. Вдруг передо мной встал черный пес, а из пасти у него текла слюна. Я не мог даже поклониться иконам – вышло бы, что окаянному псу кланяюсь. Долго он так стоял, но только я собирался его ударить, он пропадал и потом вновь появлялся. Меня охватил такой ужас, что я хотел бежать из кельи, если бы Господь не помог. Он внушил мне мысль, что битьем беса не прогнать. Тогда я стал прилежно молиться, и страх постепенно оставил меня, а с ним пропал и черный пес. Потом еще много раз бесы приходили ко мне в пещеру целой толпой. Как только садился я, немного утомившись, тут же слышал шум от топота бесчисленных ног и грохот, как будто ехали колесницы. Вся эта нечисть была в бубны, дудела в сопели, и так все кричали, что даже пещера тряслась.

– Что же ты делал, отче, при таком страхе? – спросил Григорий. – Как воевал с ними?

– Вставал, ограждал себя крестным знаменем и пел псалмы Давидовы. Так многие ночи и побеждал бесовское воинство, покуда они не стали бояться меня.

– Меня это племя пока что не боится, – грустно сказал Григорий. – Плохой я еще воин.

– Не тебя они должны страшиться, – возразил Феодосий, – а твоей любви к Богу. Не унывай. Хорошим воином сразу невозможно стать, ни в миру, ни в чернеческой обители.

Другая беда, не половина, а целая, пришла несколько дней назад. На елани возле священного дуба, которому поклонялись сельские язычники, нашли два мертвых тела. Земля вокруг и сам дуб были обильно запятнаны кровью, отчего и подумали все, что на елани совершилось запретное волхвование – человечье жертвоприношение. Весть дошла до Киева, от княжьего двора прискакал для судебного приговора вирник. К нему в придачу – мечник на подмогу и мятельник для записывания подробностей дела. Да шесть коней на троих.

– Видел я того вирника, – сказал Григорий. – Возрастом мне подобен, разума же в нем и того меньше.

– А сколько в тебе разума? – притворившись незнающим, спросил Феодосий.

– С горошину, никак не более. Вот ты меня поучаешь от твоей блаженной мудрости, отче, а я ведь все равно по-своему, по-неученому делаю. И свои книги в келье держу, и с язычниками сельскими не могу поладить, и через стену прыгаю.

– Книги я разрешил тебе держать.

– Знаю, отче, а все равно соблазн это – свое иметь. У других вон даже если лоскут какой или кусок хлеба в келье увидишь, в огонь бросаешь. Мне же отчего такое послабление?

– Вот как прочтешь все те книги, что в келье у тебя хранятся, тогда и поймешь, – сказал Феодосий с улыбкой. – Что ж вирник?

Вирник, едва прискакав, первым делом огласил вирный покон и потребовал собрать на семь дней семь ведер солоду, барана либо половину говяжьей туши, два круга сыру и четырнадцать курей. Да хлеба и каши на троих вдосталь, сколько у них чрево возьмет. После того вирник пошел по селу, оглядел растущие из земли небеленые избы, мазанные глиной, с соломенными кровлями. Особо смотрел на баб и девок – с прищуром. Уж потом приступил к делу: побывал на священной елани, зажав нос, со всех сторон обошел покойников и многозначительно рек: «Угу!» Потом спросил о личностях мертвецов. Поскольку об этом никто в селе сказать не мог, вирнику пришлось ограничиться еще одним «угу!», которое уже точно ничего хорошего не предвещало.

Вернувшись с елани, вирник велел посельскому тиуну Прокше собрать смердов на вечевом круге и там объявил, не слезая с коня:

– Головника, который злодеяние сотворил, ищите. А пока не нашли, собирайте дикую виру. Сорок гривен за каждую мертвую голову, итого восемьдесят.

Мятельник, безусый отрок, к тому же тянувший сопли, прилежно записал за ним на воцаницу. Потом, когда вернутся в Киев, перенесет все на прочную берёсту. Дружинный плащ-мятель он получил недавно и еще не научился носить его – чеканная застежка все время сползала с левого плеча наперед. Отроку это доставляло немало огорчения, ведь ловкое и красивое ношение мятля было пока что его главной обязанностью в дружине – покуда не заслужит гривну на шею. А записи – это дело десятое, считай, безделка. Писалом корябать – не мечом работать.

– Это ж сколько по весу? – почесали в затылках смерды.

– Четверть пуда серебра.

Селяне ахнули.

– Частями, на три лета, – уточнил вирник с явным сожалением. – И пока не получу первый сбор, не уеду, будете кормить, – пригрозил. – Сыщете убийцу, и если окажется не ваш, а чужак, вира с вас отменяется, выплаченное не возвращается.

– Где мы столько серебра достанем? – роптали смерды. – Обилья который год в житницах нету. Непогодь вон какая все лето, с голоду б зимой не околеть. Что ж ты, княж муж, разбой чинишь средь бела дня? Нету у нас в селе убивца, и покойники те не наши.

– А дуб ваш?

– Дуб наш.

– Колдун либо волхв в селе есть?

– Нету.

– Ну так благодарите своих деревянных богов, что покон русский за волхвование не судит, а только за смертоубийство. И за то еще благодарите, – подумав, добавил вирник, – что зарезаны не княжьи люди. По одеже видать, что не княжьи, а свои собственные. Не то бы полпуда у меня собирали.

Смерды загалдели громче. Вирник, не слушая их, заглянул в воцаницу мятельника и стал вместе с ним высчитывать свою долю от виры – пятую часть. Получалось шестнадцать гривен. Плохо только, что нельзя получить сразу.

Мечник взирал на все с каменным выражением лица, будто его не касалось. Когда смерды чересчур расшумелись, он вынул из резных деревянных ножен меч и положил поперек седла. Стало тише и свободнее вокруг.

Вдруг раздался громкий голос:

– Откуда это видно, что они свои собственные?

Вирник оторвался от расчетов и удивленно оглядел толпу.

– Кто сказал? – спросил он.

Вперед выбрался чернец Григорий.

– Может, они как раз чьи-то собственные?

– Ты откуда взялся, монах?

Вирник хмурил брови и дергал пальцем на шее плоскую широкую гривну с черненым узором, будто она вдруг стала его душить.

– Из монастыря.

– Из намастыря он, – подтвердили смерды.

– И чего тебе надо?

– Я говорю, может, убитые – холопы.

– И чего? – вирник нехорошо усмехался.

– За убийство раба виры не положено. Только владельцу платится его цена – пять гривен.

– И откуда ты такой настырный выискался?

– Из монастыря, – снова объяснил чернец. – Одежда на убитых самая простая, а возле одного из тел я нашел вот это.

Монах протянул ладонь, на которой лежала свинцовая подвесная печать с отверстием для шнура.

– Ну и что? – вирник не притронулся к предмету.

– На ней оттиск с именем митрополита Георгия. Это митрополичья печать.

– Значит, убитые – люди митрополита, – с угрозой произнес вирник. – Все слышали? – обратился он к смердам, внимательно слушавшим весь разговор. – Этот монах говорит, что нужно назначить двойную виру, по восемьдесят гривен за голову. Я с ним согласен. Значит, полпуда серебра на три лета. Запиши, – кивнул он мятельнику.

Смерды заволновались. К монаху угрожающе потянулись руки, схватили, стали рвать рясу и длинные волосы. Кругом кричали.

Мечник без слов раздвинул конем шумящую толпу и мечом плашмя ударил по затылку кого-то из смердов.

Григория бросили, шарахнулись в стороны.

– За монаха тоже хотите платить? – спросил вирник селян.

– Как же, хотим... Нашел дураков, – злобно отнекивались в толпе.

Чернец меж тем поднялся, стряхнул грязь и сердито продолжил:

– Я вовсе не говорил про двойную виру. Я говорил, что в селе ни у кого нет иного оружия, кроме рогатин, топоров и охотничьих луков. Ну еще ножей. А те, что лежат у свящ... тьфу, прости, Господи, – монах перекрестился, – их зарубили мечом. Раны глубокие и резаные. Назначать дикую виру нельзя. Поселяне не имеют к тому никакого отношения.

– Тут я решаю, имеют или не имеют. – Вирник начинал злиться. – Ладно, – бросил он мятельнику, – сотри про двойную виру... Сказал же: найдут головника, виру долой. Чего неясно?... Ну все, расходись! – крикнул.

Княжьи отроки повернули коней, поскакали на постой. Смерды не двигались с места. Дикая вира была истинным бедствием, хуже недорода. В голодный год можно хоть кору с деревьев глотать. А где столько серебра взять?

– Слышишь, чернец, как там тебя, – обратился к Григорию посельский тиун, – а может, ты головника сыщешь? Все равно тебе день-деньской делать нечего.

- Хорошо, – без раздумий ответил Григорий. – Я найду.
- Поведав все то игумену монастыря, он признался:
- Теперь не ведаю, что мне делать, отче. Как исполнить обещанное?
- Умел обещать, сумей и исполнить, – строго сказал Феодосий. – Помни: за каждое свое слово на суде перед Богом ответим.
- Помоги, отче! – взмолился молодой монах.
- Трудная задача, – качал головой игумен. – С бесами прощай... А тех убиенных схоронили уже?
- Даже не трогали. Так и лежат на месте, смердят зело.
- Плохо. Перенести бы их куда ни то, а лучше в холод, в подклеть. Не то потлеют и зверь лесной подьест, признать будет нельзя.
- Кому же их признавать?
- А ты пойдик-ка с этой печатью на митрополичий двор, отдай ее там да выясни, не ищут ли кого, не пропадали ль холопы или еще кто.
- И верно. Как я сам до такого простого дела не додумался! – обрадовался Григорий.
- Торопился, да через тын прыгал, вот и не додумал. – Феодосий ласково смотрел снизу вверх на своего ученика. – Может, нам повыше ограду сделать? А то, глядя на тебя, и другие черноризцы скакать начнут. Не монастырь будет, а игрища языческие.
- Я, отче, больше не буду прыгать, – потупился Григорий.

10

На сеновале парко, душно. Сено впитало сырость непогоды, и густой травяной дух свивался с запахом гнильцы. Испарения плотно окутывали тело, туманом вползали в голову, смешивались с каплями пота на коже. Будто тоже хотели стать плотью и буйно, беспамятно любиться этой ночью. Сплетаться, извиваться, скакать, кусать, задышаться.

Гавша утомленно отвалился на сено. Девка, тоже вся в испарине, слабо пошарила рукой – искала рубаху, не нашла, осталась лежать голая. Все равно темно. Подползла ближе к нему, ткнулась щекой в мохнатую подмышку. Сладко.

– А правду бают, что, пока все серебро не соберут, ты не уедешь?

– Еще чего, – проворчал разомлевший вирник. – Три лета, что ли, мне тут пропадать? Я князю служу. Седмицу побуду и уеду.

Девка всхлипнула, чуть было не заревела.

– Но-но, – остерег ее Гавша. – Сырости и так хватает.

– А завтра позовешь любиться? – она утерла нос.

– Позову, чего ж.

– Меня позовешь? – настаивала девка. – А не то, если толстую Радку кликнешь, я ей все косы повыдергаю. Видала, как она перед тобой боком ходила да очами зыркала.

– Обоих позову, – лениво отбрехался Гавша.

– Обоих? – изумилась девка и задумалась. – Как это – обоих? У тебя ведь один уд, не два?

– Так я вас по очереди.

Девка надолго умолкла, затем сказала:

– Все-таки я Радке волосья прорежу...

В хлеву за стенкой сеновала опять замычало и заблеяло. Стукнуло дверь.

– Хозяин балует, – прошептала девка, задрожав. – Стра-ашно! А ну как сюда выйдет?

– Какой хозяин? – Гавша спросил вполголоса, тоже прислушиваясь.

– Хлевинный дух. Он у нас теперь озорует. Скотину щекочет, кормиться ей не дает.

Гавша хотел посмеяться, но так и замер.

Из хлева сквозь жалобное мычанье и блеянье донеслось пение. «Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе...»

Гавша подскочил и припал к щели в стене. Сквозь нее пробивалась узкая полоска света от зажженной в хлеву свечи. Посреди коровьих и овечьих закутов, где беспокойно двигалась скотина, темнела коленопреклоненная фигура чернеца. Не того молодого дылды, что вздумал сегодня препираться с княжым вирником, а старого, с проседью в бороде, дюжего и широкоплечего.

«Другого привел», – со злобой подумал Гавша о молодом. И тут узнал поющего монаха, которого видел однажды в хоромы князя Изяслава.

– Чего там? – подлезла к нему девка, заглядывая в щель.

Гавшу разобрало веселье.

– Сам Феодосий-игумен пожаловал к вашему хлевиннику. Вишь, поет ему.

Он с глухим урчаньем схватил девку поперек живота, будто враз оголодал, и кинул на сено. Набросился, стал терзать. Девка только попискивала.

Сладко и терпко любиться, когда за стенкой чернец, ничего не ведающий, распеваящий свои молитвы, ни разу не испробовавший бабьего мягкого тела. Что за жизнь у монахов!

Гавша яростно перепаживал поле и уже готов был вновь засеять его. Он не почувствовал, как по спине что-то пробежало. Но услышал, как взвизгнула девка, выдираясь из-под него. Ощутил, как на голове шевелятся волосы.

Голосящая со страху девка бросилась, в чем мать родила, с сеновала во двор, побежала прочь, сверкая голой трясущейся задней мякотью. Перед носом у Гавши заскакал серый комок, из которого торчали мохнатые лапы и будто бы свиное рыло. Гавша отмахнулся от него, попятился на карачках, уперся задом в стену. Торопливо перекрестился. Существо остановилось и, похоже, задумалось. Монах в хлеву пел псалом за псалмом, грозился именем Божиим.

Гавша вдруг, сам того не понимая, тихонько заскулил. Стал царапать ногтями деревянную стенку. Ему стало страшно тоскливо и одиноко, будто стоял на краю глубокого обрыва и ждал тычка в спину.

Серое существо ожило, задвигалось и убралось вон. Не через распахнутую дверь, а прямо сквозь стену.

Гавша нащупал рубаху и порты, очень медленно оделся. Руки дрожали, и ноги долго не попадали куда надо. Пояс не хотел застегиваться.

На всю жизнь после этого он возненавидел монахов...

...С рассветом Григорий на пару со смердским холопом перевез мертвецов из лесу в село, к жилу посельского Прокши. Тиун долго не соглашался принимать убитых. Чужих заложных покойников, умерших плохой смертью, никому в селе не надобно было, хватало своих. Григорий с апостольской кротостью и великим терпением объяснял, что они не обратятся в упырей и не будут ни на кого нападать ночами. Прокша все равно не верил. Уложить трупы в холодную погребную клеть он позволил только после того, как монах пригрозил:

– Не стану искать головника! Собирайте серебро.

Умыв руки, помолившись и проглотив кусок хлеба, Григорий отправился в Киев. Феодосий ушел еще ночью, тихо, никого не беспокоив, задав корма умирённым коровам и овцам. Скотина потянулась к еде, и никто больше не мучил ее. После полуночи, правда, по селу голышом бегала верезжающая девка, кричала, что видела упыря. Насилу ее уgomонили, отвели в дом к отцу с матерью, а там уж девицу поучили уму-разуму.

До Киева Григорий в тот день не дошел. У самого плетня поскотины на краю села до него долетели брань и вопли. Во дворе местного знахаря набилась толпа смердов обоого пола. С крыльца силой стаскивали самого знахаря, нелюдимого мужика, жившего с немой женой. Григорий подошел ближе, послушал и заволновался. Сельские хотели устроить обряд испытания водой. Знахарю плевали в бороду, обвиняя в колдовстве.

– Он... он убил!

– А нам за него дикую виру плати!

– Женка у него ведьма... ишь ты, вытаращилась... глаз черный, ведьминский...

– Безъязыкой прикидывается... а сама в лягушку обернется и квакает...

Жена знахаря мертвой хваткой вцепилась в мужа, и ее тащили заодно с ним. Выволокли со двора, толпой пошли к речке. Григорий бегал вокруг и надрывался в крике, что языческие обычаи суть дьявольское искушение. Его оттирали, грубо толкали в бока и совсем не слушали. Потом к нему подошел ражий детина, ласковый мужик по имени Толбок, ростом не ниже, а в плечах вдвое шире. Взял Григория в объятия и повел в другую сторону.

– Ты б не мешал там, – попросил Толбок. – Чего уж. Ну кинут в воду. Ну поплывет, не утонет. Вода колдунов не берет. А раз колдун, сам плати виру за убийство. Не наш он, не общинный. Пришлый откудова-то. И баба евояная оттудова же.

– А если не поплывет? – спросил Григорий, уже не пытаясь освободиться из медвежьих объятий Толбока.

– Тогда утонет, – убежденно сказал смерд. – Ежели не вытянем. Водяному духу подарочек. Зато не колдун будет.

– Господи! – отчаянно воззвал Григорий к небу. – Помоги мне направить сих язычников на путь истины Твоей и отвратить их от бесовских треб!

Толбок привел его на свой двор, отворил амбарную клеть и втолкнул внутрь. Погремел снаружи засовом.

– Думаете бесов перехитрить? – Григорий колотился в дверь. – Они вас самих обдурят! Трудно ли им поддержать невинного на воде?

К реке, где собирались испытывать знахаря, меж тем пожаловали на конях княжьи отроки. Посмотрели. Мечник шевельнулся было всех разогнать, но Гавша остановил его:

– Заба-ава!

Знахарю, отпихнув немую женку, связали руки-ноги, положили в лодку-однодеревку. На весла сели двое мужиков, отплыли к середине. Речка была хоть и не широкая, зато быстрая, лодку сносило течением. Один смерд работал веслом, удерживая ее на стрежне, другой перекинул знахаря за борт.

На берегу затаили дыхание. Обездвиженное тело знахаря подхватило течение. Какое-то время он держался на поверхности.

– Ну я же говорил, – раздался довольный голос.

Потом стал тонуть. Голова нырнула и снова появлялась. Наконец исчезла совсем.

– Утоп...

Разочарование смердов было велико.

К месту, где в последний раз видели знахаря, изо всех сил гребли мужики в лодке. Один стащил с себя рубаху, прыгнул в воду. Скоро, однако, вынырнул, влез обратно, стуча зубами.

– Не наше-ол! – повестил он криком.

– Э-эх!.. Бабы, а ну отвернулись!

Толбок скинул лапти, рубаху и порты, пошел в реку. Долго не показывался из-под воды. Уже подумали, что и его схватил водяной дух, стали жалеть. Жена Толбокова наладилась было причитать. Но он вдруг выплыл, обвитый тиной, как русалка, белый, будто вправдашний утопленник.

– Течением снесло, – объявил он. – Может, где и выплывет. Эй, бабы, чего вылупились?

– А на такой уд чего ж не поглядеть, Толбоша, – звонко ответила самая смелая, бултыхая монистом на шее и медными кольцами на висках.

– Я те погляжу, зараза! – взвилась Толбокова женка. – Я те так погляжу! Глаза вывалятся!

Толбок, поскакав поочередно на каждой ноге, влез в порты. Отпихнул жену, кинувшуюся с лаской, и пошел прочь.

– Ну так чего, – крикнул Гавша, – не колдун, что ли?

– Не-а, – сказали смерды и пошли в разные стороны по своим делам.

Княжьи отроки тоже потеряли интерес, ускакали.

Толбока нагнал посельский Прокша.

– Слышь, Толбоша, а женка-то немая утопилась.

– Сама?

Толбок сходу развернулся, задел плечом старосту, не успевшего отскочить.

– Сама. В камыши зашла и утопилась. Я видел. Там и плавает, зацепившись.

– Плохо.

– Кто ж говорит, что хорошо.

Они посмотрели друг другу в глаза и поняли без слов.

– На кладбище ее нельзя.

– Этим летом на русальной неделе страсть сколько русалок повывлезло. Я от одной едва отбилась. В воду хотела затащить.

– Теперь еще одна прибавится... А какая тебе попалась? – заинтересовался Толбок.

– Старуха с космами и титьки каменные. Этими титьками и бодалась.

– А бывают молодые...

– Бывают... Я, Толбоша, во двор к себе боюсь идти.

– Пошто так?

– Клятый чернец подсунил мне в погреб мертвецов со священной елани. Пущай, говорит, полежат пока.

– Чернец? Ах ты...

– Эй, Толбоша! Ты куда? – кликнул посельский. – А русалку... тьфу ты, бабу утопленную вылавливать?..

...В амбаре, где сидел в заточении монах, было шумно. Толбок еще во двор не успел зайти, уже слышал, как во весь голос блажит чернец:

– Да обратится хула твоя на главу твою, лукавый бес. Отойди от меня, сатана. Не смущай мою душу, когда творю молитвы Господу моему. Проклят ты и вся противная сила твоя. Запрещает тебе Господь...

Толбок распахнул дверь. Посреди скарба – пахотных орудий, рыбачьих неводов, птичьих силков, тележных колес, конской и воловьей упряжи – стоял на коленях умолкший Григорий. Моргал от внезапного света.

– С кем разговаривал? – добродушно спросил смерд.

– С тем, кого вы ныне тешили.

Чернец поднялся с колен. Толбок ничего не понял, но согласился.

– Чем все закончилось? – спросил монах.

– Не вытянули. – Толбок пожал могучими плечами. – Я на дне его за коряжку подцепил, чтоб не всплыл.

– Для чего? – изумленно спросил Григорий.

– Экий недогадливый. Чтоб еще восьмушку пуда не платить за мертвую голову. Нету тела, нет и головы.

Толбок показал щербатую улыбку.

11

Киев – большой торговый город. Здесь сходятся пути из варяжских стран и Новгорода, из Корсуня и византийских владений, из волжских булгар и магометанских Хвалис. На пристанях встречаются товары со всех концов света: русские мед, воск и меха, рыбий зуб со Студеного моря, ромейские амфоры с вином и маслом, драгоценные паволоки, стеклянные украшения, камни-самоцветы, златокузнь, грецкие орехи, сушеные фрукты, диковинные восточные сладости, сарацинская поливная утварь, мечи из дамасской стали, восточные пахучие приправы и благовония, хрусталь, балтийский солнечный камень, варяжское железо и английское сукно. На торгах отсчитывают по весу золотые византийские солиды, серебряные денарии из латынских стран и арабские дирхемы. Русские купцы, особенно новгородские – от них и повелось – любое чеканенное серебро, невзирая на происхождение, называют кунами и с одинаковым удовольствием набивают им кошель. Русь лишена собственного драгоценного металла. Дальше чеканки немногочисленных княжеских златников и сребреников при кагане Владимире и его сыне Ярославе дело не пошло.

Привозной звонкой монеты всегда не хватало. А торговали все – от князей до подневольных закупных ремесленников, живших в боярских усадьбах. Даже холопы находили случай купить-продать. С торговлей по быстроте обогащения мог сравниться лишь удачный военный поход: на булгар ли, на греков или на соседнюю русскую землю. Но на греков и булгар не ходили давно, с ними на Руси нынче мир. А князья Ярославичи живут в согласии и грабить друг дружку пока не затевают. Один Всеслав мутит воду. За его своеволие полоцкая земля и поплатилась: град Менеск был взят Ярославичами на щиты и дочиста ограблен.

Отличить княжьего либо боярского дружинника, водившего торговые лоды, от купчины, препоясанного мечом, кроме воинской гривны на шее и мятля на плечах, можно по выражению лица да по направлению взгляда. Княжий муж смотрит в глаза и на руки, отвешивающие, отсчитывающие серебро и золото. Купец больше приглядывается к свойствам товара, к весовым и прочим мерам – нет ли лишней тяжести в гирьке, той ли длины пядь и локоть у продавца, какой надо.

У тех же, кто легко торговал со всем светом, не слезая с места, не имея ни лодей, ни лавок на торжище, ни меча на поясе, ни лубяного короба за спиной, как у бродячих корабейников, выражение лица отличалось разительно. Глаза на нем смотрели с тысячелетней мудростью и младенческой чистотой. Высокий лоб бороздили морщины, нажитые многолетним трудом лукавства. С робко улыбающихся губ слетало самоуничижительное подобострастие, а руки отсчитывали монеты из сундука, чтобы отдать их в рост и повязать на шею должнику удавку процентов-резов. Изъяснялось это лицо на своем наречии, впитавшем много славянских слов, а прозывалось хазарским иудеем. Обитало оно возле Жидовских ворот, где ему со всей родней и соплеменниками определил место князь Ярослав, внук Святослава, грозы и победителя хазар. Любовью в Киеве оно не пользовалось, зато имело известность. Драгоценный торговый металл нужен всем. Только в княжеской казне золота хранится больше, чем у него.

От Софийского владычного двора до Жидовских ворот всего полверсты и еще четверть. Заплутать невозможно даже ночью – дорога прямая. Левкий Полихроний, комит софийской стражи, предпочитал одолевать этот путь как раз перед полуночью. Митрополичьему сотнику не по чину было торговать. Он жил во владычных хоромашах, получал жалованье и не имел домохладцев. Много серебра, если поглядеть со стороны, комиту не требовалось. Так для чего бы ему посещать хазарских ростовщиков-лихоимцев? Ночная темнота избавляла любопытных от подобных вопросов.

Спешившись у ворот на узкой улочке – строились тут тесно, – сотник постучал деревянным молотком. Глянувший в щель слуга узнал исаварянина, впустил сразу.

– Хозяин сказал, ты придешь сегодня, комит.

– Откуда он узнал? – не слишком удивился Левкий. Он давно привык к непредсказуемой иудейской способности удивлять.

Другой подошедший прислужник увел жеребца.

– Хозяин сказал, затевается большое дело. Понадобится золото.

– Мне?

– Кому-нибудь, – коротко ответил слуга, ведя комита к дому и освещая путь лампадой.

– Тогда почему ты решил, что приду я?

Левкия разобрало любопытство. Даже хазарские слуги таили в себе бездну таинственности.

– Разве не ты приходишь, когда затевается какое-то дело? В прошлом году, например, перед тем как князь Изяслав вернулся в Киев с плененным Всеславом.

Слуга провел Левкия в жилой покой на втором ярусе дома, поклонился и прикрыл снаружи двери. В резном веницейском кресле, обложенный тонкими подушками сидел хозяин – второе лицо в киевской иудейской общине после раввина, Менахем бар Иегуда Коген. Сухое, дряблое тело было закутано в шитый золотом сарацинский халат из шелка, ноги обуты в остроколенные туфли. Плешивую голову прикрывала маленькая круглая кипа. В длинных седых пейсах осталось не так много волос.

– Доброго здоровья тебе, Менахем.

– Добрых трудов тебе, Левкий. Окажи милость, садись в то кресло.

Указанное сиденье было всего лишь скамьей на один зад, с высокой спинкой и без подушки. Но Левкий успел забыть о тех роскошествах, которые недолгое время окружали его в императорском Палатии. На Руси исаврянин привык к тому, что здесь живут в дереве, едят с дерева, ходят по бревенчатым мостовым, спят на деревянных ларях и моются вениками из древесных веток. И сами русы в большинстве тоже были деревянными, негнушались. Их рожали бабы, которые на ложе напоминали бревна. Иные комиту не попадались, потому здешние женщины его давно не интересовали.

– Итак... – произнес хозяин дома и не стал договаривать. Гость должен сам изложить цель прихода, даже если она ясна без слов.

– Итак, тебе, Менахем, известно, что происходит в Киеве.

Ответом Левкию было легкое покачивание головы. Хазарин сложил руки на животе и подался вперед, внимательно слушая.

– И тебе известно, быть может, что произойдет в Киеве?

– Быть может, – эхом отозвался иудей.

Комит обдумал его ответ и продолжил:

– Так вот, чтобы это произошло, нужно серебро. А лучше золото.

Менахем откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза веками и долго молчал.

– Я не один раз давал тебе и серебро, и золото, – наконец заговорил он. – Но те, на кого ты ссылаешься, твои покровители в Константинополе, не вернули мне и половины...

– Ручаюсь тебе, что получишь назад все сполна и с лихвой!

– Быть может... Но я хочу спросить тебя о другом. Какому богу ты служишь, исаврянин?

– А разве Бог Израиля не един? – с вкрадчивой полуулыбкой произнес сотник.

– Бог Израиля един и нет других богов, кроме Него. Но тебе известно, что почитать можно разных богов. Так какой же – твой?

– Тот, которого нет, – с самым серьезным видом ответил Левкий.

– Вот как? – хазарин распахнул веки. – Что это за бог? Как ему поклоняются?

– Ты лукавишь, Менахем. Ты знаешь, каков этот бог. Ведь твой народ поклоняется ему уже тысячу лет, с тех пор как иудеи рассеялись по миру. Вы внесли поправки в Ветхий Завет и написали к нему толкования...

– Я не понимаю тебя.

– Или делаешь вид, что не понимаешь, – усмехнулся комит. – Бог, которого нет, – истинный бог. Он прячется под покровами обрядов любых религий. Он пребывает в тайне, о его существовании мало кто знает. Но твой народ поклоняется ему открыто, потому что ваши раввины и мистики, читающие тайные книги Соломона и Авраама, дьявольски хитры. В своих толкованиях и других книгах они сделали слепок с ветхозаветного Иахво, наполнили его иным содержанием и научили иудеев почитать его. Христианские богословы называют его дьяволом. Пускай так. Мне совершенно все равно, какое имя носит истинный бог...

Хозяин дома взмахнул рукой.

– Довольно... Так ты считаешь, что твои цели и цели Израиля совпадают?

– В этом убежден не я один.

– И каковы же наши, – Менахем подчеркнул это слово едва уловимым сарказмом, – цели на Руси?

– Неужели вы не грезите восстановлением Хазарского каганата? – рассмеялся Левкий. – И не в тех прежних пределах, которые из конца в конец прошел с мечом русский варвар Святослав. А в границах всей нынешней Руси! Сто лет назад у вас была возможность, когда русы выбирали себе новую веру. Вы не сумели навязать им свою религию. Упустили великолепную возможность. Но теперь есть другая, тоже очень хорошая.

– За которую нам надо ухватиться твоими руками, Левкий Полихроний? – хазарин улыбнулся краем губ.

– Почему бы и нет? Эти руки цепкие и умелые, – самодовольно произнес комит.

– Что они уже сумели?

– Много разного. Полоцкий князь Всеслав, который, как тебе хорошо известно, сидит в темнице, через своих бояр имеет сообщение со степью. Несколько лет назад там объявилась новая орда кочевников. На Руси их зовут куманами или половцами. Они уже ходили войной на русскую землю, и это был успешный поход...

– Я знаю.

– Ничто не мешает им прийти на Русь снова, – с ядовитой улыбкой сказал Левкий.

– Никто пока не знает их силы. Может быть, они окажутся воинственнее печенегов и, как гунны при Атилe, покорят половину стран Заката?

– Я не боюсь этого. Куманы – дикие люди. Они придут и уйдут, как весенний речной разлив. Нам же останется плодоносный ил, на котором мы взрастим свой урожай...

Со двора через окно с венецейским стеклом донесся шум. Кто-то во всю силу колотил деревянным молотком по воротам и кричал.

Вошедший слуга сообщил, что буянит княжеский дружинник, которого Менахем распорядился не впускать.

– Ворота крепкие. Пошумит и перестанет, – невозмутимо ответил хазарин. – Не воевать же нам с этими князьими разбойниками. Они вспыхивают, как солома, от любого не понравившегося слова.

– Я взгляну? – спросил позволения Левкий, подходя к окну.

– Там не на что и смотреть. Нахальнейший юнец, не умеющий себя прилично вести.

Сквозь прозрачное ровное стекло весь двор был виден четко и ясно. Огромная разница в сравнении с мутными слюдяными окнами, которые до сих пор считаются в боярских домах Руси верхом роскоши. Только князья могут позволить себе покупать в иных землях дорогое стекло для своих хором.

Высокие ворота скрывали невежественного дикаря. Левкий видел только щегольскую шапку на его голове, с тонкой меховой оторочкой. Словно почувствовав взгляд комита, конный дружинник отъехал на другую сторону улицы и, как показалось Левкию, посмотрел ему прямо в глаза.

Исаврянин торопливо отошел от окна, вернулся на место.

– Я его знаю. Кажется, его имя Гавша. Вероятно, варварское сокращение от Гавриила.

– Он действительно княжеский дружинник?

– Да. Но я могу с ним поговорить и утихомирить его. Что ему нужно?

– Сначала того же, что и всем. Но теперь он ходит сюда за другим. Этот юный наглец решил, что он – лучший жених для моей Мириам. Моя дочь имела неосторожность показаться ему.

Грохот у ворот возобновился.

– Боюсь огорчить тебя, Менахем, – осторожно произнес Левкий, – возможно, то была не совсем неосторожность.

– Как ты сказал?! – нахмурился хазарин.

– Этот молодой ратник, а вернее развратник, – усмехнулся комит, – производит на женщин опасное впечатление. Родись он в Константинополе, он имел бы успех и у мужчин...

Взгляд комита словно замаслился.

– Моя дочь влюбилась в... – Менахем гневно сжал подлокотники кресла. – Как она могла полюбить не иудея?! Этого не может быть! Ты ошибаешься! Ты сильно ошибаешься, исаврянин.

– Да, наверное, я ошибся, – быстро согласился Левкий и добавил, помолчав: – Теперь я вижу, что ошибся. Мириам не могла полюбить русского невежу и варвара.

Хазарин отдышался и успокоился.

– В конце концов я уже нашел ей хорошего жениха... Мы уклонились от нашего разговора. Сделай милость, продолжай далее. Новгородский епископ?..

Левкий кивнул.

– Он мог узнать меня. Мы встречались два раза в Константинополе. Ему было известно, к каким кругам я принадлежу. Этот Стефан был чересчур упрям и въедлив. Кроме того, своей внезапной смертью он заварил хорошую кашу. Полоцкая аристократия, не попавшая в тюрьму, жаждет мести за погром своего двора. Полоцкое княжество – центр языческого сопротивления на Руси. Когда на киевском престоле утвердится Всеслав, нам останется лишь немного помочь ему справиться с остальными сыновьями князя Ярослава. И о русском государстве, вознесшемся силой Церкви, а также неразумием императоров, можно будет забыть. Русы вернутся в леса, к своим идолам и капищам. Править этой обширной землей будут другие.

Левкий, увлекшийся грезами, взглянул на хазарина и был неприятно поражен. Менахем мелко смеялся, трясая пейсами. Попросту хихикал.

– Ты хочешь сказать, Левкий Полихроний, что все на Руси происходит по твоей воле?

– Нет. Конечно же, не все...

Хазарин оборвал смех.

– Ты слишком тщеславен, исаврянин. Это погубит тебя, запомни. Я вижу: ты хочешь, чтобы о твоих делах знали и говорили. Этой болезни подвержены многие... из тех, кто не принадлежит к людям Закона. Я дам тебе совет. Если желаешь успеха в своих трудах, оставайся всегда в тени. А на свету пусть будут рабы. Те, кого ты купишь. Не завязывай прямых отношений с Всеславом. Прибери маленького подлого человечка и сделай его большим и благородным при новом киевском князе Всеславе. Пускай он будет твоим Адамом, и когда он падет, ты извергнешь его из рая и останешься невидимым.

Левкий задумчиво кивал. Он вдруг осознал, что шум во дворе давно прекратился.

– Так ты дашь мне золото, Менахем?

– Я подумаю. Ты ведь просишь немало?

– Разумеется.

– Скажи... – Хазарин, казалось, о чем-то вспомнил. – Имеешь ли ты возможность разговаривать с митрополитом Георгием?

– Я могу отыскать любую возможность, если она необходима.

Левкий сказал это с удовольствием, ощущая сладость произнесенных слов.

– Знаешь ли ты игумена Печерского монастыря?

– Феодосия? Его знают все.

– Да, он знаменит. – Менахем печально вздохнул. – С тех пор как иудеи поселились в Киеве, нам не дают спокойно жить все эти христианские проповедники. Почему они считают, что мы должны отречься от истинной веры и уклониться в троичное многобожие?

– Их обязанность так считать, – пожал плечами комит.

– Феодосий самый несносный из них. Он чересчур досаждаёт нам. Все время ставит в пример того проклятого отступника, которого они четверть века назад сделали новгородским епископом.

– Луку Жидяту? Ох, прости, Менахем. Я понимаю, это имя оскорбительно для тебя.

– От Феодосия же мы слышим его каждую субботнюю ночь!

– Я подумаю, как кроткого Феодосия сделать укрощенным, – сказал комит и остался доволен фразой.

– Обязательно подумай. Если митрополит не сможет укротить его, то... Подумай, Левкий.

– Так как насчет золота?

– Приходи через три дня. Я тоже буду думать.

Левкий распрощался с хозяином и ушел, не задерживаясь. Лишь за воротами остановил коня, оглядывая улицу – не хотел встретиться здесь с буянившим отроком. Но Гавши не было.

Сверху из окна за отъездом комита наблюдал гость Менахема, прибывший из Константинополя.

– Вы все слышали, уважаемый равви Ицхак? Что скажете о нем?

– Шелудивый пес. Ты дашь ему золото, Менахем?

– Дам. Он будет приходить и просить снова.

– Закон велит предавать таких смерти.

– Но он не принадлежит к людям Закона... Он прервал нашу беседу. Какие новости из града Константина, равви?

12

Гавша кивнул владельцу корчмы, низкорослому и мускулистому сириянину. На столе тотчас явилась новая корчага с гречким вином. Наполнив глиняную кружку, Гавша от тоски и отсутствия других зрелищ стал рассматривать сириянина. Хозяина корчмы звали Леон. Он называл себя христианином и носил в ухе серьгу в виде греческого четырехконечного креста. Рубаху по несусветному заморскому обычаю корчемник заправлял в порты. Сами же порты держались на выпершем брюхе при помощи узких лямок, перекинутых через плечи.

Облик сириянина был до того смехотворен, что на него ходили бы смотреть просто так, для веселья. Но у киевских мужей была и иная, более основательная причина разглядывать этого Леона. Его корчма, возникшая не так давно поблизости от Жидовских ворот, была единственная в Киеве. До сего пройдошливого сириянина о подобном благе в городе никто и подумывать не мог. Поговаривали, будто тысяцкий Косняч содрал с Леона немало серебра за то, чтобы представить все это дело князю Изяславу в выгодном свете. А что ж тут невыгодного, если некое количество Леонова серебра будет течь непрерывным ручейком и в княжью казну. Тут выгода общая – и князю, и киевским мужам: есть теперь где отдохнуть от дружинных пиров.

По ночному времени в корчме было пустовато. Кроме Гавши сидели два каких-то варяга, говорившие меж собой на своем языке, да приبلудные калики с самой полуночи осушали три кружки вина на троих, да в углу мрачно шептались не то купецкие сынки, не то боярские отроки, тоже двое, да спал, уронив тяжелую голову на стол, некий людин неопределенного звания. Гавша вылил последние капли жидкости из корчаги в кружку, как вдруг заметил интерес к себе варягов. Они посматривали в его сторону и совершали непонятные движения своими бледными северными лицами. Может, подмигивали друг дружке, а может, строили рожи. Гавша не разобрался, ему было не до криворожих варягов. Ему захотелось выйти во двор по нужде. И совсем не его вина в том, что путь пролегал мимо стола, где гримасничали эти свинопасы, нацепившие на себя оружие.

Один из варягов, с косами впереди ушей, что-то сказал, кивнув приятелю на пошатнувшегося руса. Оба посмеялись и продолжили тянуть из кружек. Гавша подошел ближе. Никто не успел заметить, как в руке у него оказался меч: на стол упало отхваченное вместе с косой ухо шутника. Другой варяг в тот же миг лишился чувств от удара глиняной кружкой по виску. Кружка развалилась на куски.

Гавша был мастер на обе руки. И не пьянел всего лишь от двух корчаг гречкого вина.

Безухий варяг взвыл. Зажимая рану, выхватил собственный меч и попытался зарубить Гавшу. Тот был готов к отпору. Некоторое время в корчме упруго звенел металл, падали сбитые с ног скамьи и увлеченно следили за боем все, кто не спал и не терял чувств, включая хозяина.

Затем в корчме появился еще один человек. Недолго понаблюдав, он вмешался в поединок – приставил острое своего клинка к шее варяга.

Гавша, тряхнув буйной головой, убрал меч в ножны и заспешил во двор. Варяги случились на его пути совсем некстати.

Левкий Полихроний, а это был он, обратился к истекающему кровью варягу:

– Если считаешь себя пострадавшим, завтра приходи на княжий двор и проси суда. Прихвати с собой пару послухов, кого-нибудь из них. – Комит показал на свидетелей драки.

– Убью его! – прорычал варяг по-русски, делая попытку устремиться вслед за обидчиком. Но клинок Левкия держал его крепко.

Комит забрал у безухого меч, обезоружил и второго варяга, поникшего головой. Кивнул сириянину:

– Позови к ним лекаря.

– Я сам лекарь, – гордо сказал Леон.

– Тогда займись ими, только чтобы не мешались здесь.

Левкий бросил корчемнику медный фоллис, затем серебряную резану. Сириянин поймал монеты на лету, схватил горящего варяга за руку и утащил на поварню.

Вернулся Гавша, в мрачной тоске уселся за стол, допил остатки вина. Левкий Полихроний устроился на скамье против него.

– Не считал, в который раз я избавляю тебя от неприятностей?

– Что ты называешь неприятностями? – Гавша покосился на застонавшего варяга с кровавающимся виском. Сириянин взвалил его на плечо и унес.

Левкий понимающе усмехнулся.

– Ну, хотя бы ту монашенку, которая клялась, что ты взял ее силой. Мой послух убедил всех, что черница сама легла под тебя, и ты отделался всего сотней гривен. А мог бы стать изгоем из княжьей дружины. Князь Изяслав тогда сильно разгневался.

– Дело прошлое, – пробормотал Гавша.

– Эй, хозяин, – позвал Левкий.

Из поварни высунулся сириянин.

– Принеси красного самосского вина.

– Самосского нет, но есть превосходное хиосское, – не моргнув глазом, отвечал Леон.

– Неси. Если оно окажется не превосходным, я перебую весь твой запас амфор.

– Не сомневаюсь, господин.

Сириянин ненадолго скрылся, а затем выставил перед комитом расписную лакированную корчагу с круто выдающимися боками и тонкими витыми ушами. Красным по черному на ней были выведены греческие мужи, голышом упражняющиеся в ратном деле. Гавша подумал, что это особенно отчаянное храбрство – идти на врага с обнаженным, ничем не защищенным удом.

Левкий отпробовал вино и остался доволен. Велел добавить к нему блюдо жареной свинины.

– Отчего невесел, княж отрок?

Гавша смахнул с глаз кудрявый чуб. Угрюмо пожаловался:

– Ненавижу монахов.

– Мм?! – произнес Левкий, не отрываясь от кружки. – А прежде, помнится, любил. Монашенок. А?

– Монашки меня не грабили, – совсем затосковал Гавша.

– Ну-ка расскажи.

Гавша, выцедив сперва кружку хиосского, грустно поведал Левкию о мокшанских мертвецах и въедливом чернеце Григории.

– Оный смердолюбивый чернец привел с митрополичьего подворья раба. Тот возьми и узнай в мертвечине беглых холопов, что зарезали новгородского епископа. Меня обворовали на шестнадцать гривен. За убитых холопов по закону виры нет.

Гавша подцепил пальцами кусок свинины с костью и стал грызть.

– Найдешь свои шестнадцать гривен в другом месте, – бодро утешил его Левкий, перетирая зубами жесткую свиную жилу. – Для княжих кметей дело нетрудное – придумать, с кого и какую виру взять. Ты лучше подумай, каково теперь полоцким боярам, которых Изяслав бросил в поруб за тех самых холопов. Думали-то, что они на полоцком подворье прячутся.

– Что мне до полоцких, – с досадой отмолвил Гавша. – Может, они и порубили холопов. А вирником меня впервые послали, вместо хворого Вячка. Когда теперь еще пошлют.

Гавша бросил кость рыжему псу, тайком пробравшемуся в корчму. Бродяга схватил угощение и забился под стол, стал шумно лакомиться.

– Вижу я, не одно серебро у тебя на душе, – сказал исаврянин. – По гривнам так не тоскуют.

– Верно угадал. Зазноба у меня в сердце. – Гавша зажал в кулак рубаху на груди. – Так и рвет душу!

Левкий едва не расплескал вино, наливая в кружку. Расхохотался.

– Зазноба? У тебя? Да твоя зазноба под любым бабьим подолом – задери и обрящешь.

– В том-то и дело! – воскликнул Гавша, гневно вспыхнув. – Ее мне не достать.

– Да кто ж такая?

– Еврейка Мириам. Дочь ростовщика. Ты знаешь, как жида берегут своих девок. Ни одна собака не подступится.

– Знаю. – Левкий стал серьезным, собрал складки между бровями. – Лучше тебе забыть о ней. Выбрось еврейку из головы. Не по тебе шапка.

Взор Гавши сделался яростным.

– Да кто она такая! Жидовка. Я – княжий дружинник. Не по мне шапка?! Да я ее... выкраду, натешусь и отдам на потребу!

– Не петушишься, отрок, – снисходительно изрек Левкий. – Похищать девицу не советую. Знаешь, что будет после того? Иудейская месть. Тебя спрячут в укромном месте, прибьют руки-ноги к кресту и выпустят по капле всю кровь. Потом на ней замесят тесто для опресноков.

Исаврянин плотоядно улыбался.

– А может, – раздумывая, сказал Гавша, – ее... как полоцкий боярин Кила? Я, правда, с козой не пробовал.

– С козой можешь попробовать и без девицы.

– Верно, – криво улыбнулся отрок. – Кила, не считая козы, тоже несолоно хлебавши остался. Зато весь Киев распотешил. Богатая на выдумку голова у боярина!

– А это я его научил, – сказал Левкий.

– Ты? – Гавша вытаращил очи.

– Пожалел я боярина. Очень уж вид у него был от тоски болезный. Как у тебя нынче.

– Может, и меня как ни то надоумишь? – кисло попросил Гавша. – Полоцких вон жалеешь. Чего их жалеть-то? Тут чай не Полоцк, а стольный град Киев.

Левкий налил вина себе и отроку. Разговор предстоял серьезный. Комит вспомнил, как его самого надоумил днесь Менахем бар Иегуда.

– Поговаривают, князь киевский скуп стал, дружину свою в черном теле держит? Старшие дружинники еще на серебре едят, а младшие вовсе глиняной посудой обходятся. Так ли?

– Так. – Гавша закаменел лицом.

– Кмети при князем дворе засиделись, о ратных походах с богатой добычей только в песнях слышат. Так ли?

– Так.

Оба слукавили: исаврянин для дела, Гавша от обиды, которая стала казаться сильнее. И впрямь ведь – жаден Изяслав, не жалует младшую дружину. Поход же был – ходили на Всеслава в прошлом году, вернулись с добычей. Но – только и всего. Да и град Менеск – не Корсунь и не Царьград. Даже не Новгород, разоренный Всеславом.

– Изяслав и телом стар, и на рати слаб. Всеслава не в бою победил – хитростью и обманом взял. Полоцкий же князь сильный воин. Он мог бы ратную славу своего предка князя Святослава на Руси возродить. О нем и песни уже слагают.

– Полоцкие волхвы и слагают, – хмыкнул Гавша.

– Об Изяславе же слагать и некому, и не о чем. Киевская чернь на торжищах с разинутыми ртами слушает тех самых волхвов... Ты, княжий отрок, вот что реши. – Левкий наклонился к Гавше, приглушил голос. – Лучше ли при Изяславе о жалких гривнах тосковать или при дворе великого киевского князя Всеслава в бояре метить?

– Так уж и в бояре? – засомневался Гавша. – Сперва бы в старшую дружину попасть.

– Всеслав о дружине своей радеет, и в младших кметях у него не застревают. Что до боярства... Кто из киевской дружины первым поймет, что Всеслав вам не враг, тот и окажется с большей прибылью.

– А ты? – Гавша настороженно изучал смуглокожее, горбоносое лицо исаврянина.

– А я при митрополите. – Левкий развел руками. – Он один на всех ваших князей. Тебе думать, не мне.

– Да я уж думал, – признался отрок.

– И что надумал?

– А ничего. В порубах сидят и Всеслав, и его дружина. Чего тут думать.

После вина и мяса Левкий чувствовал приятную истому в теле. Не хотелось больше говорить о делах и князьях варварской Руси. Хотелось заняться образованием молодого дикаря. Великолепно невежественный, восхитительно вульгарный, объездивший не одну девку, этот дремучий скиф в вопросах истинного наслаждения оставался столь же девственным, каким родился.

– Жаль, что ты не жил в Константинополе, при дворце императора. Там ты быстро изучил бы искусство придворной интриги, и заточение в темнице не казалась бы тебе большим препятствием. О, Константинополь – великий город. И люди там совсем другие, не то что здесь. Там умеют все делать по-настоящему, доходя до края и даже заглядывая за край...

– Что ты на меня так смотришь? – грубо оборвал его Гавша.

– Как я на тебя смотрю?

– Как... – Гавша покривился, – как боярин Кила на козу.

Левкий чуть было снова не расхохотался. Этот варвар его умилял.

– Что ты знаешь о любовной утехе, отрок? Кроме задранных бабьих рубах ты в жизни ничего не видел, не понял и не ощутил.

– А что нужно было понять? – недоумевал Гавша.

– Что настоящая любовь многогранна. Пойдем.

Левкий бросил на стол серебряный денарий, закутался в плащ. Отобранные у побитых варягов мечи остались лежать на скамье. Гавша силился понять, какого-такого меду он еще не опробовал в своей жизни, и недоверчиво шагал по пятам за исаврянином. Из-под стола его провожал вопрошающий взгляд задремавшего было пса.

13

После недолгого затишья вновь зашевелилось Дикое поле. На исходе лета степь вспучилась черной ордой, задрожала от ударов многих тысяч конских копыт, огласилась волчьим воем половецких разведчиков. Куманы двигались широкой полосой вдоль левого берега Днепра. Вброд и вплавь на конях преодолевали один за другим днепровские рукава – Орель, Ворсклу, Псёл. На Суле границы Переяславского княжества сторожила крепость Воинь. За Супоем, на Трубеже, стоял сам град Переяславль, там уже знали о нашествии. Выдвинутые в степь дозорные разъезды возвращались на заставы – сторожевые крепостицы, а дальше зажигались на башнях огни, мчались гонцы. Из самого Воиня к князю Всеволоду прискакали вестники, далеко обогнавшие куманов. Оставляя крепость, они не знали, обойдут ли ее половцы стороной, не задерживаясь, или решат попробовать на зуб.

Всеволод Ярославич, услышав весть, велел собирать войско, сел на коня и устремился к Киеву во главе небольшого отряда. С ним ехали сын Владимир и несколько бояр с отроками. Прочей дружине и городской рати Всеволод приказал ждать своего возвращения с подмогой. Князь учел старый просчет. Семь лет назад сам, без братьев выступил против кочевников. Явились же они в те поры с меньшей силой, наступали одним только родом, с ханом Искалом. Нынче, как поведали гонцы, половцы объединились для набега несколькими родами. Идут – коней не особенно гонят, знают наверняка, что добыча не ускользнет. Не легкая стремительная конница двигалась на Русь, чтобы внезапно налететь, похватать и вновь раствориться в степи. Нынешняя орда была обременена обозами, в которых и походные шатры, и соломенные тюфяки, и котлы для варева. Как к себе домой идут. Только по пути жгут, режут, топчут, насилюют, ловят веревочной петлей.

– Вместе нам надо садиться на коней, сообща выступать против половцев, – убеждал брата князь Всеволод.

После обеденной трапезы они вдвоем ушли в верхнюю истобку. В княжьих хоромы по сырой погоде давно топили в подклети печь. Бояре, имевшие голос в совете, остались в башне-повалуше, ждали, что князья-братья надумают по-родственному.

– Как на торков ходили – помнишь? – говорил Всеволод. – Нас трое и Всеслав Полоцкий, рать бесчисленная, на конях и на лодьях. Торки одного только слуха о русском войске напугались. Убежали, да и перемерли все в бегах от Божьего гнева. Так и нынче нам надо.

– Нынче в точности как тогда не получится, – хмурясь, отвечал Изяслав, ложкой зачерпнул из блюда варенных в меду ягод. Прожевал медленно. – Или мне Всеслава из поруба выпустить велишь да дружину его буйную?

Всеволод опустил глаза, проговорил твердо:

– Я тебе, брат, не указ. Ты старший князь на Руси. Не хочешь со Всеславом помириться, так и втроем, без него, мы тоже сила.

– И то верно. Святослав из Чернигова к утру в Киев поспеет, рать черниговская подойдет самое позднее через два дня. На третий и выступим сообща к Переяславлю. К тому времени половцы уже недалёко будут. Испей пива, брат, больно ты мрачен сидишь. Или в успех не веришь?

– Да и тебе, погляжу, не весело, брат. – Всеволод налил в чашу не пива, а грушевого кваса. – Гонцы сказывали, половцы идут – что тучи на окоеме, просвета не видно. Дружинного войска против них мало станет. Нужно градское ополчение поднимать и смердов на рать ставить.

– Об этом с боярами надо посоветоваться, – отмолвил Изяслав. Не понравилось ему, что брат предлагал. Не хотелось думать, будто столь велика беда и дружинной ратью не обойтись.

– Еще одно скажу тебе, брат, – неохотно начал Всеволод, отпив квасу. – Дозорные в степи давно извещали: к половцам с русской стороны не единожды ездили некие гонцы. Мои люди видели их с середины лета. Откуда и чьи послы, неведомо – хоронились в тайне, мимо застав по ночам проскакивали.

Изяслав поднялся, стукнул кулаком об стол. С запястья слетел, расстегнувшись, створчатый серебряный браслет с ангелами. Князь гневно зашагал по истобке.

– Знаю, чьи послы, – скрипнул он зубами. – Оборотня полоцкого! – В руки ему попался утиральник из камки, тотчас от платка полетели клочья. – Брячислав, отец его, на нашего батюшку руку поднимал. Матушка у него в плену побывала, варягами похищенная. И этот волчина туда же. Брячислав клятву отцу давал, землю с ним поделил и мир сотворил. Этот же клятву родительскую порушил. Ненавижу! Оборотень! Волкодлак!

Всеволод, бледный, как белёное полотно, напомнил:

– Брат, ты ведь и сам свою клятву нарушил. Мы втроем Всеславу крест целовали, говорили: приди к нам для мира и совета, не сотворим тебе зла. Он же поверил и приехал к Смоленску. И в шатре у тебя твои отроки схватили его.

– Зачем все это рассказываешь мне, будто я не знаю или забыл? – вспыхнул Изяслав. В противоположность брату он стал красным, как алая византийская парча. – Всеслав сам виноват: для чего нарушитель клятвы верит крестоцелованиям других? Хитрость на войне – доблесть.

– Отец наш, князь Ярослав, не хитростью дал мир русской земле, – упорствовал Всеволод, но голос на старшего брата не возвышал, – а врагов у него побольше было. За то и прозвали его Мудрым.

Изяслав сел в свое точеное кресло с подлокотниками в виде прыгающих рысей, прожевал ложку медовых ягод, запил квасом. Остыл и помягчел.

– Памятью отца я не меньше твоего дорожу, брат. Хотя и не ходил у него в любимцах, как ты. Велик был каган Ярослав, и нам подобает к тому же стремиться. Если половцев навели на Русь Всеславовы бояре, тогда степнякам прямая дорога к Киеву. Нельзя позволить им погубить отчий град.

– Нельзя, – подтвердил Всеволод. – Но если Бог казнит, то люди не помилуют и войско не спасет. Когда еще был я в Переяславле и гонцы только повестили о нашествии, в терему у меня сидел монах из Тмутаракани. Про себя сказывал, что прежде жил в Печерском монастыре и теперь туда же возвращается. Назвался Никоном. Может, знал ты его?

– Не упомяну. Под рукой у Феодосия сотня чернецов, где же всех знать.

– А тогда-то их, помню, сильно меньше было. Этот Никон сказал, что он от твоего княжеского гнева лет восемь назад из обители ушел. Будто грозился ты тогда печерских монахов разогнать, а его самого в заточение бросить.

– И впрямь, что-то было такое, – с неохотой вспомнил Изяслав и спросил недовольно: – Да к чему ты мне про этого пугливого чернеца говоришь?

В истобку вошел холоп, поставил на стол полную кваса серебряную братину с двумя ковшиками по бокам и блюдо сдобных заедок. Поднял с пола княжье обручье. Изяслав протянул руку, раб застегнул на зарукавье браслет. С собой унес опорожненную посудину.

– Этот Никон чернец не пугливый, а смиренный, шуму и свар не любит. Он ученый монах, большой книжник. Про поганных куманов он так сказал: Бог в гневе своем наводит ино-племенников на русскую землю. Еще сказал: когда впадает в грех народ, Господь его казнит мором или голодом, или нашествием поганных. Или иные казни посылает, чтобы одумались и вспомнили о покаянии.

– Что ж думаешь, брат, одолеют нас половцы? – Изяслав тяжким взглядом смотрел на Всеволода. – Монах сам пуглив и в тебе страх поселил?

– Не позорь меня, брат, – тихо и кротко попросил переяславский князь. – То божий страх. Земная участь меня не страшит – от Бога боюсь отступить.

– Где тебе отступить, – усмехнулся Изяслав. – Ты пост строже иных чернецов держишь и от питания хмельного бежишь. Нищих при своем дворе развел, на милостынь твою всякий сброд кормится. Монахов без разбора привечаешь, а ведь и к ним нужна строгость, чтобы не творили своеволия от Божьего имени.

– Монах ничью волю не творит, кроме Господней, – воскликнул Всеволод. – А если творит, то не монах он, лишь рясой прикрывается. Тебе ли не знать этого, когда в твоей земле Печерская обитель сияет, будто солнце.

– Знаю, знаю, – подобрел киевский князь, – не бушуй, брат. Вот что я думаю: надо нам идти в Печерский монастырь, просить благословения на битву с половцами и молитв на одоление поганых.

Всеволод просветлел лицом и заулыбался.

– Да и я о том же думаю, брат.

– На том и порешим. Только Святослава дождемся. Пойдем-ка, брат, к боярам, проведем, не заснули ль там еще.

– Постой, – вспомнил младший. – А где твой Душило?

– В яме сидит, – враз поугрюмел киевский князь.

– За что?! – сильно удивился Всеволод.

– За дело.

– А может, отпустишь? – попросил младший брат. – Он бы сгодился в битве.

– Когда забуду за что сидит, тогда отпущу, – буркнул Изяслав.

14

Захарья еще с вечера распорядился нагрузить телегу бочонками с медом и с деревянным лампадным маслом да мешками пшена, чтобы с утра не болела об этом голова.

О другом она теперь болела постоянно. Десяти дней не прошло, как от пристаней в устье Почайны отчалили три Захарьевых лоды и поплыли вниз по Днепру, к греческому Корсуню. Большие лоды везли товар: соболя, куньи, горностаевые, бобровые, беличьи, лисьи меха, медвежьи, волчьи, рысьи шкуры-полсти, плотные скатки льняного полотна, тяжелые круги воска, бочки меда, рыбий зуб и поднепровский янтарь.

На лодьях, кроме кормчего и нанятых гребцов, плыла сторожа, набранная из киевских и пришлых вольных кметей. Таких в любом граде Руси вдосталь. Не успел прибиться к княжьей либо боярской дружине – сам ищи себе хлеб, подряжайся к купцам и ходи с ними по всей земле, от Студеного до Хвалынского моря. Захарья заранее присматривал сторожей для своего обоза: киевские вольнонаемные мужи всегда на виду и всегда шумны. Со всеми успел сговориться, сошелся в цене, как вдруг на тебе. Десяток нанятых им кметей тысяцкий Косняч посадил в поруб вместе с полоцкими дружинниками. Еще четверых порубили у Брячиславова двора. И нужно было им слушать волхвов на торжище! В последний день Захарье и Даньше пришлось впопыхах рядиться с первыми встречными бродягами, у которых на поясе болтался меч.

Захарья и сам бы повел обоз на Корсунь, но Даньша для этого подходил лучше: знал греческую речь. Некогда игумен княжьего Дмитровского монастыря Варлаам плавал в Царьград и на Святую землю. Князь Изяслав послал с ним для сопровождения малую дружину. В том отряде и состоял Даньша и за год паломничества наторел в грецкой молви. А что с греками надо держать ухо остро, не то живо вокруг пальца обведут, это Захарья хорошо понимал. С ромейскими купцами в Киеве он торговался до хрипоты и все равно не досчитывался прибыли.

Вскоре от пристаней на Почайне должен был отойти другой обоз во главе с самим Захарьей – до Новгорода. Но все мысли его сейчас были об ином. Через седмицу после отплытия Даньши Киев облетела весть о половцах. Сердце у Захарьи будто в ледяную воду прыгнуло. Лоды, верно, добрались уже до Псела. Может, и далее – до Ворсклы. Лакомый кусок для степняков. А не удастся пограбить, так спалят обоз, им чужого не жалко – зажгут стрелы и пустят на реку. Захарья потерял сон и покой.

Сам бы он не додумался. Подсказал Несда, богомольная голова. Надоумил пойти к печерским монахам и просить у них молитв. Они, мол, ближе к Богу. Когда-то Захарья тоже молился Христу, внимал епископу Леонтию в Ростове. Да все давно позабылось, и не было другого Леонтия, чтобы напомнить.

Он долго сидел на лавке, задумчиво стругал чурбачок, игрушку для дочки. Резное дело Захарья любил. Иногда так деревяшку изузорит – загляденье. Но в этот раз не дострогал, бросил и пошел на двор. Велел грузить телегу – в монастырь везти дары-поминки. Авось поможет монашья молитва. Попутно еще вот что придумал: после монастыря пойти на Лысую гору, принести жертву старым богам. Одно другому не помеха, так решил.

Со двора выехали не рано, чтоб монахи успели отслужить все, что у них по утрам случится. Захарья шел с одного боку телеги, Несда с другого, конем правил холоп Гунька. Купец поднарядился: атласная синяя рубаха с бархатными зарукавьями, порты из английского сукна, наборный серебряный пояс, вотола с искусной застежкой у шеи, сапоги светлой кожи, шапка из тафты с куньей оторочкой. Меч пристегивать не стал – не монахов же им пугать. Несде тоже сурово велел снять свою холстину и одеться как подобает купецкому отпрыску. Сын подумал и неожиданно легко согласился. В Печерском монастыре он ни разу не бывал, но слышал об этой обители давно и много. Поездка к чудотворным монахам была для отрока праздником.

За версту от Феодосьева монастыря, в Берестовом, узрели суету. По селу слонялись, пешком и на конях, княжьи кмети. Иные, поснимав рубахи, для упражнения рубились на мечях. Прочие задирали шутками девок и гоняли с поручениями холопов.

– Князь, что ли, пожаловал? – вслух подумал Захарья.

– Тысяцкий ополченскую рать собирает, – ни к селу ни к городу высказался Гунька, которому надоело молчать.

– Знамо, плохо дело, – омрачился купец.

– Куманы, слышно, к Супою подходят, – сообщил холоп. – Силища несметная!

– Отец, могут ли половцы осадить Киев? – спросил Несда.

– Осадить-то могут. Сто лет назад, при княгине Ольге, осаживали. Да и тогда не взяли, а теперь и подавно. Не по зубам им станет Ярославов град.

Захарья говорил рассеянно, мысли его были далеко, с тремя лодьями, плывущими мимо вражьей орды.

На дороге от Берестового до монастыря часто попадались дружинники, едушие в одну и другую сторону. А то и вовсе – коней пустят щипать траву, сами под кустом на расстеленном мятле лежат, млеют. По небу ходят тучи, но надоевшим дождем не сыплет, и то хорошо.

Захарья на дружинников смотрел с пристрастием. В юности сам хотел стать кметем, надеть на шею воинскую гривну. Не сумел. Теперь и сын оказался бездарным к воинской храбрости. Княжьи отроки, словно чуя эту робость к оружию, на купца с его телегой поглядывали свысока. Презрительно ухмылялись, свистом и криком вытесняли с дороги. Захарья ужимался и тайком стыдился.

Когда показался монастырский тын, он бы вздохнул свободней, да не тут-то было. У ворот толпилась целая орава конных и спешенных гридей. С появлением купецкой телеги они показали к ней интерес. Остановили и потребовали:

– А ну поворачивай назад.

– Да я же... – Захарья растерянно оглянулся на Несду. – С дарами... для черноризцев.

– Неча тут шляться, когда князя благословляются.

– Князя? – убито пробормотал Захарья.

– Тебе, купецкая рожа, чего здесь надобно?

Несда вдруг догадался, что дружинники всего лишь смеются над ними.

– Мы к игумену Феодосию, он нас ждет, – громко заявил он. От смелого вранья кровь бросилась в лицо.

– Так прям и ждет?

– Занят Феодосий, пошли прочь.

– А пока он занят, мы с братом экономом дело справим. Поминки у нас – вот: мед, деревянное масло и пшено. Если не привезем все это сегодня, игумен Феодосий осерчает, – упоенно врал Несда. – Масло у монахов кончилось, нечем лампы заправлять. И князей угощать нечем – последний мед вчера доскребли.

Захарья униженно молчал.

– Ну, – чуть присмирели гриди, – если так... Заплати мыто и проезжай.

– Какое мыто, вы что, ополоумели? – Захарья от изумления охрабрел.

– Я те дам щас – ополоумели! – пригрозил один из отроков, для виду хватаясь за меч.

– Ладно, – смеялись другие, – пуцай проезжает. Не то обидится еще, князю нажалуется. Ишь ты, вырядился, купчина. Чернецов нарядом не удивишь, у них у самих знатные одёжи – драпина да рванина.

Монастырский привратник, слышавший весь разговор, распахнул ворота для телеги.

– Прости, Господи, нас, грешных, – вздохнул он.

– Как бы нам с игуменом Феодосием повидаться? – смущенно спросил его Захарья, входя в обитель.

– Так у блаженного Антония все, – сказал чернец, – отец игумен и князя и воеводы ихние. Обождать надо. А о брате Анастасе там узнайте у кого-нито. – Привратник махнул рукой на монастырское хозяйство. – На месте его никогда не сыщешь.

– Анастас – это кто такой? – еще больше растерялся Захарья.

– Как кто? – удивился чернец, прикрывая ворота за телегой. – Брат эконоом. Ключник по-нашему. А я думал, знаете.

В глубине монастыря высилась небольшая бревенчатая церковь. Налево от нее не слишком ровными рядами стояли монашьи жила – кельи. По другую сторону – подсобные клетки: поварня, хлебня, трапезная, мыльня, житный амбар и прочее. В клетях и между клетями видны были чернецы, исполняющие послушание на разных работах. Братия рубила дрова, молола жито, копалась в огороде, носила воду. Захарья велел Гуньке править коня туда. У проходившего монашка с мешком на спине спросил о брате Анастасе.

– А вон он.

Брат эконоом оказался здоровым коренастым мужиком с рыжей окладистой бородой и связкой ключей на веревочной подпояске.

Узнав суть дела, эконоом обрадовался. Тут же снарядил двух чернецов разгружать телегу, а сам пустился в многословный рассказ, желая и Захарью порадовать:

– Завтра у нас праздник Рождества Святой Богородицы, и как на грех вылили вчера последнюю каплю масла. Стал я думать, чем заливать в праздник лампы, и решил добыть масло из льняного семени. Испросил благословения у отца игумена, да и сделал как задумал. А как собрался наливать масло в лампы, вижу: в сосуде мышь утопилась. И когда только успела! Побежал я к отцу Феодосию: так, мол, и так, уж с каким стараньем накрывал корчагу, а все равно этот гад проник и масло осквернил! Отец игумен мне и говорит: сие божественная воля. Маловеры мы, говорит. Нам, брат, следовало возложить надежду на Бога, который может дать все, что потребно, а не так, говорит, как мы, потеряв веру, делать то, чего не следует. И из святого Матфея слова привел: птицы небесные не сеют и не жнут, и в житницы не собирают, а Господь их питает. Так и мы, чернецы Божьи, должны. Ступай, говорит, вылей свое масло, подождем немного и помолимся. Бог подаст нам деревянного масла с избытком. Так и сбылось слово отца нашего Феодосия! – с широкой улыбкой заключил брат эконоом.

– Что ж, и мед у вас кончился?

Захарья беспокойно глядел на Несду, будто опасался, что и мед в самом деле вчера доскребли.

– Мед? – озабоченно переспросил ключник. – Не-ет, меду еще оставалось немного. Дня на два.

– Угу, – сказал Захарья. – А как бы мне с настоятелем словом перемолвиться? Долго ль его ждать надо?

– Зачем ждать? – удивился брат Анастасий. – В келье он. Пойдем.

Захарья повернулся к сыну:

– Стой здесь.

Гуньке же велел напоить коня.

Несда сел на опустевшую телегу и стал гадать, где сейчас находятся князя и насколько велик блаженный Антоний, у которого они благословляются. Верно, большой святости и мудрости монах. Только почему о нем ничего не слышно в Киеве? Про Феодосия, напротив, знают все, даже при владычном дворе о нем отзываются. По-всякому, правда: кто с почтением, кто с досадой, кто с ругательными насмешками. Иные говорили, что печерский игумен силен в словопрении и самих греческих хитрословесников способен заткнуть за пояс. Другие считали, что Феодосий большой гордец и монастырь свой ставит так, чтобы было в укор и осуждение всем прочим, живущим в миру. Прочие поносили его за то, что всегда сует нос не в свое дело. А некоторые утверждали, что в Феодосии пребывает Святой Дух.

– Видел ли ты заплаты на рясе игумена? Я хорошо его рассмотрел. Лоскут на лоскуте. И это настоятель почитаемой обители! Любой смерд лучше одет. Такие ветхие ризы я только на огородных пугалах видал.

По соседству от телеги очутились два отрока, возрастом ненамного старше Несды – лет пятнадцати. Одеты были богато – в бархат и парчу-аксамит, с золотой и серебряной вышивкой. У того, что ростом повыше и телом покрепче, с кудрявыми волосами и пригожим лицом, вместо гривны на толстой шейной цепи висел крупный оберег-змеевик из золота.

– Зря смеешься, Георгий, – ответил он. – Вот увидишь, Феодосия прославят в святых, когда он отдаст Богу душу. На что хочешь поспорим.

– На твой меч! – весело предложил насмешник, отрок с огненно-рыжими волосами.

– Зачем тебе мой меч? У тебя и свой не хуже.

– На тот меч, который ты привез из Ростова. Согласен?

– Меч святого князя Бориса? Хитрец ты, Георгий. Нет, на эту вещь я не спорю. Она моя до самой смерти.

– Да ведь этот меч неказист, и вряд ли ты возьмешь его в битву. Для чего он тебе?

– То память о моем родиче, погибшем ради Христа, – гордо ответил обладатель змеевика. – Этот меч – мой оберег, он будет хранить меня от всякого зла. Особенно его должна бояться нечисть.

– Нечисть? Ну, это трудно проверить... О, придумал! Что если испытать его на волхвах? Волхвы могут считаться нечистью?

– М-м, не думаю. Все же они смертные.

– Но они служат языческим богам, а эти боги и есть нечисть.

– Пожалуй, ты прав... Надо испытать меч. Знаешь что... Нужно пойти на капище и поймать волхва, когда он начнет свое колдовство.

– Ага, он тебя этим колдовством по голове и шарахнет. Чего ему стоит...

– А меч на что? Вот и испытаем.

– Ну да, а вдруг не подействует?

– Подействует, – убежденно сказал хозяин змеевика. – Эй, ты!

Несда не сразу понял, что обращаются к нему.

– Эй, малый!

– Да он, кажется, глухой.

Несда повернулся к отрокам.

– Ты из Киева?

Он кивнул.

– Ты что, еще и немой? Отвечай князю, – прикрикнул на него тот, кого звали Георгием.

– Я из Киева, – послушно сказал Несда и спросил высокого: – А ты правда князь?

Князю в торжественных выездах положено быть в плаще-корзне. А у этого на плечах дружинный мятель, хотя и непростой – бархатный, обильно расшитый узорами.

– Правда. Мой отец – переяславский князь Всеволод Ярославич. А твой отец кто?

– Купец... Так это ты сын греческой принцессы Мономаховны? – Несда ощутил жгучее любопытство. – И где ты княжишь?

– Прежде в Ростове. Теперь в Смоленске.

– А я родился в Ростове, – живо поделился Несда. – Там померла моя мать. Епископ Леонтий крестит там язычников. Я помню его до сих пор, хотя был тогда в детском возрасте.

Исчерпав запас дружелюбных словес, он умолк.

Княжич Мономах пропустил все это мимо ушей и нетерпеливо спросил:

– Какое у вас тут недавно завелось капище? Про него говорят несусветные глупости.

– Да это на Лысой горе. Там ворожат полоцкие волхвы.

– А я слышал, будто туда каждую ночь прибегает в волчьем облике сам князь Всеслав, – сообщил рыжий Георгий.

– Это сказки, – заявил Мономах. – Ты, Георгий, варяг и потому веришь в подобные рассказы. Все варяги лековерны.

– Давай проверим, – вспыхнул Георгий и оттого стал казаться еще более огненным.

– Ты знаешь путь туда? – спросил княжич Несда. – Проведешь нас? Но только ночью!

– Проведу, – с запинкой ответил Несда и тут же вспомнил: – Городские ворота ночью заперты.

– Ах да! – поморщился княжич. – А где находятся подземные градские дыры, ты, вестимо, не знаешь.

– Не знаю.

– Придется выйти за город на закате. Где ты будешь нас ждать?

– У Копыревских ворот. Оттуда ближе всего.

– Где такие ворота?

– Улицей направо от Жидовских.

– Договорились. Коня не бери, Георгий возьмет для тебя дружинного. Смотри, не обмани, купец!

В монастыре вдруг стало шумно илюдно. Из дальнего конца обители, широко раскинувшейся на склоне холма, явилось целое шествие. Впереди шли князья Ярославичи в богатых золотошвейных корзнах с златокованой фибулой на правом плече и с меховой опушкой. У младшего Всеволода, женатого на греческой принцессе, корзно вышито на византийский манер кругами с орлами внутри. Все трое не молодые, но и не старые. Только у Изяслава, самого высокого и обильного телом, волосы, видные из-под шапки, тронуты серебром. Подле них выступали старшие сыновья – хмурый, с будто бы рубленным лицом и колючими глазами Мстислав Изяславич, статный, румяный, улыбчивый Глеб Святославич. Вокруг князей важно вышагивали бояре – киевский воевода Перенег Мстишич, тысяцкий Косняч, переяславский Никифор Жирятч по прозвищу Кыянин и черниговский Янь Вышатич. Позади всех брели трое смиренных иноков с опущенными взглядами.

Несда соскользнул с телеги и во все глаза рассматривал невиданное собрание. От келий навстречу князьям не торопясь шел монах, ничем от прочих не отличавшийся, разве что ряса на нем была еще более убогой, похожей на лохмотья. В летах он был почтенных, но годы и монашья келья не сгорбили прямую спину, не согнули широкие плечи, в которых чувствовалась былая сила. Верно, в молодости мог и дикого тура уложить ударом кулака, восхищенно подумал Несда о монахе.

За чернецом, сильно отстав, шагал Захарья. Купцу было неловко, что взгляды, направленные на монаха, достались и ему. Пытаясь стать незаметным, он заспешил в сторону, к телеге.

– Спаси вас Христос, князья земли Русской, и вас, бояре благочестивые, – негромко произнес монах, подходя ближе к собранию.

– Что же ты не спросишь, отче Феодосий, что нам напроорочил Антоний? – неприветливо осведомился князь Изяслав.

Несда невольно схватил подошедшего отца за руку:

– Это игумен Феодосий!

Мономах и Георгий заторопились присоединиться к остальным.

– Что бы ни было, на все воля Божья, – кротко ответил игумен.

– Он пообещал нам поражение и погибель!

– Уста блаженного Антония не произносят ложного свидетельства, – сказал Феодосий. – Смирись, благоверный князь.

Но возмущенной душе Изяслава было не до смирения.

– Благослови нас ты, отче, – не попросил, а повелел он, – и пообещай, что будешь молиться о нашей победе над погаными половцами.

Игумен без прекословий подошел к каждому, начав с Изяслава, и перекрестил с краткой молитвой. А воеводе Яню Вышатичу с улыбкой прибавил:

– Не говорил ли я тебе, боярин, что скоро вновь увидимся?

– Говорил, отче, – улыбнулся в ответ воевода, хоть и тяжело было у него на душе из-за Антониева предсказания.

– А ты не хмурься. Помнишь, что еще говорил тебе, – верь и будь мужествен.

– Хорошо, отче, – благодарно отмолвил Янь Вышатич. – Утвердил ты меня тогда, и ныне не поколеблюсь.

Последним благословение Феодосия принял подоспевший боярин князя Всеволода варяг Симон. На его лице было странное выражение: будто смешались нераздельно счастье и несчастье.

– Что сказал тебе Антоний? – спросил Всеволод.

– Прости, князь, – с легким поклоном ответил боярин, – его слова были столь удивительны, что я не смею их повторить.

Изяслав первым пошел к воротам монастыря, где ждали отроки с конями. За ним потянулись остальные. Князь Святослав несколько раз оборачивался на игумена и чему-то улыбался.

– Он так и не пообещал, что будет молиться об их победе, – прошептал Несда. – Почему?

15

В то время, когда Захарья выезжал со своего двора в Киеве, чтобы идти в Печерскую обитель, трое Ярославичей с сыновьями и боярами уже входили в монастырские ворота. Утренняя служба едва успела кончиться, Феодосий еще не снял священническую ризу. В церковь вбежал молодой инок и стал возбужденно размахивать руками, живописуя княжье нашествие.

Феодосий отечески одернул его:

– Не маши дланями, будто скоморох на пиру. Прижми к груди и ходи всегда так, если не занят работой.

Напуганный небывалым событием монашек сложил крестообразно руки на груди, будто собрался к причастию, и замер столбом.

Игумен аккуратно снял с себя церковное облачение, сложил в ризнице, вышел из алтаря.

– Отомри! – улыбнулся он в сторону инок.

Тот поспешил следом за настоятелем и, выйдя из церкви, удрал подальше, с глаз долой.

Знатное многолюдство одних чернецов собралось посреди монастырского двора и заставило бродить без дела, как бы по достойной причине. Других, напротив, разогнало по кельям и вложило им в руки четки, а в уста – усиленную молитву от греха и соблазна. Только самые стойкие и опытные не побросали работу, да послушники не осмелились оставить назначенные им труды.

Узнав, с чем пожаловали князья, Феодосий наотрез отказался выполнить их просьбу.

– Не у меня просите, – покачал он головой. – Я лишь худой раб и исполняю повеления нашего отца и учителя, блаженного Антония. Вся братия подтвердит вам это.

– Сие мне известно, – ответил князь Изяслав. – Известно также, что блаженный Антоний много лет назад затворился в пещере. Как мы пройдем к нему, Феодосий?

– Ради любви он покинет ненадолго свою пещеру, как делает иногда ради нас, грешных. Впрочем, я сам попрошу его об этом.

Игумен пошел впереди, за ним стройным порядком двинулись князья и бояре. Идти было шагов триста. Монастырь, милостью князя Изяслава, подарившего землю, привольно растянулся вдоль Днепра. Нынешняя пещера Антония была не та, в которой он когда-то поселился, положив начало обители. В той, прежней, теперь хоронили умерших братий, а вход в нее был недалеко от церкви. Когда монастырь вышел из-под земли к солнцу и стали в нем умножаться чернецы, Антоний ископал себе другую пещеру, подальше, так как любил уединенность и молчание. Вот уж лет семь, оставив руководство инокami, он жил в подземном затворе. Но по-прежнему к нему ходили за наставлением в самых важных делах.

Князь Изяслав хорошо помнил блаженного старца. Как не помнить, если сам же грозился когда-то выгнать Антония из киевской земли. Шутка ли, монахи любимого боярина довели до белого каления. Тот аж захворал, три седмицы не мог сесть на коня! Потом-то все уладилось, и вышло как нельзя лучше, но кто ж тогда мог это знать?

И все равно к Антонию Изяслав Ярославич любви не испытывал. Игумен Феодосий – совсем иное дело. Феодосий пока, слава Богу, не нашел способа уязвить чем-либо киевского князя и ввести во грех, сиречь во гнев. Напротив, благорастворение воздухов в обители при Феодосии было таковым, что князь испытывал здесь особые чувства. Он с удовольствием ощущал себя добрым христианином, исполненным любви и смирения, и ничто не могло поколебать его в этом. Было только непонятно, куда все это девается, когда ворота обители остаются позади и вновь одолевают княжеские заботы. Не возить же всюду с собой отца игумена!..

По дороге к пещере Антония от старших незаметно отстали отроки – княжич Владимир Всеволодич и Георгий-варяг. Подземный монах им был неинтересен. Наверняка какое-то немытое страшилище, которое и говорить-то разучилось.

Феодосий недолго пробыл под землей. Вылез и подержал дощатую дверку, прикрывавшую вход в пещеру на пологом склоне холма. За ним следом из затвора выбрался старец, с длинной седой бородой, в низко надвинутом на глаза клобуке. Монашья схима была слегка замарана сухой землей, особенно на коленях, в бороде тоже запутались крупинки.

– Вот, отче Антоний, благослови пришедших к тебе.

Сказав это, Феодосий поклонился земным поклоном учителю и зашагал прочь.

– Поздорову ли будешь, Антоний? – поприветствовали старца князья.

К их удивлению, смрадного запаха от старика, похоронившего себя заживо, не ощущалось.

– И вам Бог в помощь, – неожиданно гулким для молчальника голосом ответил блаженный.

– Благословишь ли нас и русские дружины на битву с сыроядцами, отверженными Господом? – спросил Изяслав.

– Благословить нетрудно, – молвил старец. – Да знаете ли, что ждет вас?

– Сеча с вражьей ордой, – удивляясь вопросу, сказал Изяслав. – Для чего спрашиваешь?

– А для того, что вижу: не ведаешь ты, князь киевский, отчего Бог ныне казнит тебя своим гневом.

Изяслав шатнулся, как от удара по щеке. Младшие Ярославичи переглянулись, бояре, напротив, не шелохнулись – внимали старательно.

– Меня? Что ты такое говоришь, чернец?! Опомнись, старик!

– Я-то в твердой памяти, князь. Тебе бы самому в себя прийти, душу свою в Божьей бане отмыть. – Антоний вдруг вознес руку на обнаженную голову Изяслава и неожиданно мягко произнес: – Ну ничего, будет у тебя для этого срок.

– Так что нас ждет, поведай, блаженный старче! – попросил Святослав. – Сказал аз, скажи и буки.

– Что ж, скажу без утайки. Ждет вас поражение, – печально проговорил Антоний. – Войско ваше погибнет и расточится. Враги по земле русской разойдутся и рассядутся, не встретив отпора.

– Не будет этого! – сердито воскликнул Святослав. – Не родился еще тот хищный степняк, который завоюет русскую землю!

– Правду ты сказал, князь, – тихо произнес Антоний, опустив голову. Лица его совсем не стало видно из-под клобука – только борода развевалась.

Князья подавленно молчали. Воеводы тяжело задумались. В верхушках деревьев на холме шумел буйный ветер, сбрасывал шишки и ветки.

Антоний поднял руку и осенил всех единым крестом.

– Мир вам, люди Божьи, да пребудет с вами Господь.

Киевский князь словно очнулся, спросил громко и яростно:

– На смерть благословляешь, Антоний?

– Нет, князь, на терпение благословляю. Ступайте с миром.

Старец поклонился и пошел к пещере. Князья и воеводы уходили один за другим, будто кто-то невидимый поочередно, друг за дружкой, пробуждал их от гнетущей задумчивости.

Наконец остался один переяславский боярин Симон, медноволосый варяг с бледной кожей, которую не брало даже полуденное солнце. Посмотрев вслед ушедшим, он вдруг бросился к пещере, распахнул дверцу и, сильно согнувшись, полез внутрь.

– Антоний! Отче Антоний! Где ты?! – зывал он.

Дверца закрылась. Варяг ничего не видел впотьмах и метался от стены к стене с вытянутыми руками. Пещера расширялась, земля под ногами уходила вниз, и через несколько шагов можно было стоять в полный рост.

– Здесь я, – ответил спокойный голос Антония.

– Где? – спросил Симон и тут же увидел монаха – в темноте плыло его светящееся лицо. Старец взял варяга за руку. Симон вцепился в него и упал на колени.

– Отче! – взмолился боярин. – Не хочу погибать! Убереги твоими молитвами от беды меня и дружину мою! Сын у меня, Георгий, отрок... со мной на рать пойдет. Спаси его, отче!

– О чадо! – вздохнул Антоний, хотя Симон, муж благородный и решительный, давно уже не был чадом. – Многие из вас падут от меча. И когда побежите от врагов, они будут топтать вас копытами коней и наносить вам раны, вы будете тонуть в реке. Ты же спасешься. Когда подойдет твой срок, тебя похоронят в церкви, которую построят здесь... Знаешь ли ты об этом?

Варяг не видел глаз Антония, но чувствовал, что они пронзают его насквозь. Неожиданно он ощутил глубокое спокойствие.

– Ей-богу знаю, – удивленно сказал он. – Я слышал это давным-давно... А Георгий? – спохватился он. – Что будет с ним?

– Я помолюсь о твоём сыне, чадо, – ответил старец. – Иди с Богом.

Симон догадался, что монах перекрестил его. Он поднялся и побрел к выходу. Сердце варяга колола тревога.

... Феодосия уже не было на виду. Захарья сел на телегу и сказал Гуньке:

– Езжай. Да помедленней. Пускай князья подальше ускачут.

Несда устроился рядом с отцом. Когда за ними закрылись монастырские ворота, спросил:

– Какой он, Феодосий?

Захарья долго молчал, прежде чем ответить.

– Этот монах знает больше, чем говорит. Так мне показалось.

– Что он тебе сказал? – Несду мучило любопытство.

– Ничего особенного... О тебе зачем-то спрашивал. Чудной старик. С виду ласковый, а внутри – стальная жердь. Нет, не то... – Захарья подумал. – Внутри у него будто меч без ножен.

Несда удивился. Затем стал размышлять о том, как отец мог увидеть или почувствовать этот меч внутри Феодосия, если был с ним так недолго и сказали-то они, наверное, лишь по несколько фраз. Тут же ему припомнилась картинка: Захарья сидит на лавке и из обычной деревяшки вырезает чудо-конька со звездой во лбу и аккуратно расчесанной гривой. Или узорит прялку – выводит на ней райских птиц, неведомых зверей – китоврасов, катанье на санях, плясанье девушек. Если талант в руках, значит, и в сердце тоже. А если сердце способно в чурбаке разглядеть живого конька или пускай даже страшного зверя коркодила, оно и в человеке рассмотрит такое, чего другому никогда не увидеть и не понять.

– А кого он этим мечом?... – вырвалось у Несды.

– Края-то острые, – подумав, сказал Захарья, – себя ими режет. А виду не подаёт. Чудной...

– Феодосий – святой... – пробормотал Несда.

Что-то в его голосе заставило Захарью пристально посмотреть на сына.

– Ну все, хватит об этом монахе, – резко бросил он. – Кто это с тобой там разговаривал? Из боярских детей?

– Рыжий – то варяг, Георгий. А другой – сын переяславского князя. Этот Владимир – внук византийского кесаря Константина Мономаха!

Несда презирал себя за хвастовство, когда оно случалось, но не мог удержаться. Захарья присвистнул, что делал вообще редко.

– Да сдались нам эти грецкие косари, – вставил слово Гунька, которому опять надоело молчать.

– А ну зашей себе рот веревочкой! – прикрикнул на него Захарья. И сыну: – О чем они с тобой говорили?

Несда коротко описал беседу: о мече святого Бориса и капище на Лысой горе. О том, что ночью задуман туда поход, – ни намеком.

– Был бы ты способен к ратному делу, – грезя, вздохнул Захарья, – мог бы в дружину молодого княжича зачислиться. Вместе бы мужали и навыкам обучались. Там, глядишь, и в бою бы при Владимире вышел.

– Я еще мал, а он уже муж, – самоуничижительно промямлил Несда.

– Ты уже не мальчик! – жестко сказал отец. – Тебе двенадцать. В этом возрасте отроки становятся воинами и идут вместе со старшими на войну... если, конечно, они умеют держать в руках оружие...

Захарья вдруг понял, что злится на сына вместо себя самого и умолк.

– Ладно, чего там. – Он примирительно обнял Несду. – В купцах тоже неплохо живется. Я в твоих годах сидел уже на весле и плавал из Ростова до самого Хвалынского моря.

Но сын был не согласен с ним.

– Я хочу переписывать книги, – с тихим упрямством молвил он.

Захарья недоуменно отнял руку.

– Что ты хочешь делать?

– Хочу быть переписчиком книг, – твердо повторил Несда. Немного подумав, все же сделал уступку: – Потом когда-нибудь заведу собственную книжную и книжную лавку в торгу.

Захарья схватился за голову.

– Совсем с ума соскочил! Еще раз услышу такое, сниму с тебя порты и отдеру плеткой на виду у всех! Ты меня понял?!

Несда молчал. Захарья взял его за ухо и покрутил.

– Отвечай!

– Понял, отец! – сморщившись от боли, выдавил отрок.

Ухо отпустили на свободу. Несда прыгнул с телеги и пошел сзади, вне досягаемости родителя. Глотая обидные слезы, он заставил себя подумать об игумене Феодосии. Вот кому угроза отхлестанного зада уж точно не была бы помехой! Внутренний меч режет, верно, побольнее плетки. Интересно, говорил ли Феодосий своему отцу, что собирается надеть рясу? И как тот поступил?

Только теперь Несда всерьез задумался о собственном будущем.

16

Днем Захарья пропадал. Как вернулись из монастыря, потрапезовали, так и ушел до вечера, и дневным покоем, положенным всякому рано встающему человеку, пренебрег. Дядька Изот видел, как хозяин велел поймать петуха и забрал с собой в мешке. Несда не стал ломать над этим голову, сразу забыл. Мало, что ли, петухов да кур на заднем дворе.

Чем ближе подходил закат, тем тошнее становилось на душе, и задремать в изложне тоже не получилось. Идти на Лысую гору, ночью, ловить колдующего волхва – затея представлялась все более гадкой. Но отказываться надо было сразу, теперь поздно.

Несда сложил в котомку кресало и кремь, набил промасленной ветошью в кожаной свертке на случай, если понадобятся светильники. Сунул туда же короткий моток веревки – вдруг княжич велит вязать волхва? Сам небось вервием не запасется. Если только рыжий варяг догадается.

Котомку он спрятал во дворе. После этого пошел к мачехе, зевавшей за пальцами, и стал к ней ласкаться. Просто так, ни за чем. Родную мать он едва помнил, но почему-то казалось, что Мавра на нее похожа. И даже если бы не была похожа, Несда все равно любил бы ее. Он совсем не понимал, отчего существует нелюбовь и вражда между людьми, созданиями единого Бога. А того непонятней злорада, вдруг вспыхивающая, подобно пожару, способная люто обезобразить даже красну девицу. Когда кто-то шумно злобил, ему становилось плохо – голова будто распухала, руки дрожали, он задыхался. Несда хотел бы любить всех – и отца Евагрия, и тысяцкого сына Коснячича, и буйного Гавшу, и холопа Гуньку. И необязательно, чтобы они знали, что он их любит. Просто ему казалось, что любовь – самая сильная молитва на свете. Такая же, как «Отче наш».

Захарья пришел к ужину, мрачный и неразговорчивый, без петуха. Похлебал кислых щей с кусками говядины, на остальное и смотреть не стал, сразу отправился спать. Несда, довольный хотя бы тем, что его не поймают за руку, натянул теплую, на бараньем меху свиту, выскользнул из дома. Подхватил котомку и удрал со двора. Даже дядька Изот не заметил.

У ворот Копырева конца, запыхавшись, он столкнулся нос к носу с рыжим Георгием. Варяг от макушки до сапог был закутан в серую ветолю, огненная голова скрывалась под клобуком.

– Долго тебя еще ждать? – прошипел Георгий. – Сейчас ворота закроют!

– А где князь? – оглядывался Несда, поспешая за отроком.

– Там уже, за воротами. Он бы все равно пошел, и без тебя.

– Он же дороги не знает.

– Попрошал у тутошней стражи. Сказал им, что идем охотиться на волхва.

– Зачем? – опешил Несда.

– Чтобы не поверили. А то от вопросов и советов не отобьешься. А так – поржали и рассказали дорогу.

– А может, я вам тогда не нужен? – с надеждой спросил Несда.

– Боишься, что ли?

– Нет. Мне волхва жалко.

– Чего?! – Георгий остановился перед самыми воротами и подозрительно поглядел на него. – Ты язычник?

– Нет, что ты. Просто...

– А если просто, так иди молча, – рассердился Георгий.

Они прошли мимо двух стражников. Те не обратили на отроков внимания, так как были заняты – мерялись на спор длиной своих копий и величиной топоров. В поле в закатных лучах щипали траву три коня. На камне возле них сидел княжич, одетый также неприметно, в темный

мятель и простую суконную шапку. Несда подметил, что Мономах с варягом подготовились к походу лучше, чем он со своей котомочкой. Под плащами у обоих угадывались короткие мечи, а к седлам двух коней были привязаны тороки, туго набитые.

Княжич внимательно оглядел Несду с головы до ног, в сомнении двинул губами, над которыми пробивался темный пух.

– Едем!

Несда оседлал оставленного ему скакуна и потрусил позади. Дорога шла прямая, накатанная, сбиться с нее и в темноте было бы трудно. Недалеко от города она перепрыгивала широким бревенчатым мостом через речку Глубочицу. Мономах с Георгием не торопили коней и ехали бок о бок – разговаривали. Обоих совсем не заботило, слышит их купецкий сын, плетущийся сзади, или нет.

– ...жениться? Не-ет, мне еще рано. Я еще и девок как следует не разглядел. А на тутошних киянчечек и смотреть пока что было некогда.

– Так никого и не приметил? А мне одна очень даже показалась. Имени, правда, не узнал. Какого-нибудь боярина дочка.

– Где же ты ее увидал?

– Вчера в Святой Софии на обедне. Коса – с мою руку толщиной. Брови черные, сама – кровь с молоком. И ямочка на подбородке. А вот тут две милые родинки.

Княжич показал, в каком месте у девицы родинки.

– Да что родинки! – воскликнул Георгий. – Брови сурьмой намалевала, а щеки нарумянила. У девок главное – телесность. Чтобы мягко на них лежалось. Я себе жену буду выбирать на ощупь.

Он расхохотался.

– Хорошо тебе, варяг. Отец небось не станет неволить. Девок из боярских домов и из прочей нарочитой чади даже в Переяславле пруд пруди. Про Киев и не говорю. Выбирай, какая по сердцу. А вот где столько принцесс взять, чтоб по душе выбрать? Да и не дадут мне выбирать.

– Не горюй, князь, эка беда. Одноженство только в церковном уставе прописано, а на деле-то? Младших жен у кого только нет, втайне или въяве. Хоть у бояр, хоть у простой чади.

– У моего отца нет! – жестко ответил княжич. – И не говори мне больше об этом, Георгий. Не то рассоримся.

– Ладно, прости, князь... Вообще-то... у моего батки тоже нет другой жены.

– Как думаешь, Георгий, – после недолгого молчания продолжил Мономах, – хороши ли собой английские девицы? Они ведь тоже варяжской крови?

– Ну... как тебе сказать. Англы не настоящие варяги. Даже совсем не варяги. Настоящие – так те норманны, которых привел с собой на Британский остров конунг Вильгельм, прозванный за то Завоевателем. Это было два года назад.

– Я знаю. Его также называют Вильгельмом Бастардом, – мрачно сказал княжич. – И еще я знаю, как воюют варяги. Они беспощадно льют чужую кровь. Они и русской крови пролили немало.

– Варяжские ярлы и их дружины с честью служили русским князьям! – запальчиво воскликнул Георгий. – Не забывай, что и я варяг, хотя только наполовину!

– На счет варяжской чести я бы с тобой поспорил. Князь Ярослав, мой дед, сильно намутился с этими ярлами. Но я не хочу спорить... Эй, купец!

Мономах обернулся к Несде.

– Езжай-ка ты впереди и показывай путь. Мнится мне, что этот холм и есть Лысая гора?

– Она самая, – кивнул Несда. – А тропы наверх я не знаю. Можно поискать или забираться так, без дороги.

– Я же говорил, толку от него не будет, – недовольно пробурчал Георгий.

Мономах, ничего не сказав, повернул коня к горе, выраставшей в паре сотен шагов от дороги. Красное закатное солнце давно скрылось не только за холмом, но и за краем земли. Свет еще не стал тьмой, однако вокруг густела сизая хмарь, змеиными лентами струился понизу туман. Вверху, в небе, очертания горы были четкими и гладкими – торчала лысая макушка. Граница леса, обрамлявшего ее, проходила где-то ниже и была не видна.

Несда так и остался в хвосте. Княжич и варяг возобновили прерванный разговор.

– Вряд ли английские девы хороши, – поделился сомнением Георгий. – Они, должно быть, бледные и водянистые, как этот туман. Я слышал, что на острове англоv всегда стоит туман. А почему ты спрашиваешь об этом?

– Мне, наверное, будут сватать английскую принцессу, – немного разочарованно ответил Мономах.

– Вот это да! Ты породнишься с конунгом Вильгельмом, королем Англии?

– Да нет же. Отец на этого Вильгельма только ругается. Однажды он сказал, что хочет, чтобы моей женой стала дочь Харальда, прежнего короля англоv, погибшего в битве с Завоевателем. Пока она еще мала, но через несколько лет войдет в возраст невесты.

– Дочь сверженного короля?! – изумлялся Георгий. – Да зачем?

– Не знаю. Ведь мои дети от нее, скорее всего, не смогут претендовать на английский престол. Слишком далеко находится этот престол, дальше, чем все варяжские страны. Но мне нравится эта мысль – взять в жены принцессу-сироту, лишенную всего. Если же девица окажется дурнушкой... жаль, конечно. И все равно мой долг будет любить ее... как своего ближнего.

Копыта коней ступали по склону холма, пока еще пологому. Вскоре начался лес, редкий внизу горы, но с неприветливым подлеском, неохотно пропускавшим путников. Стал накрапывать дождь, шуршала палая листва. Закликала птица-ночница.

– Чур меня! Чур меня! – то ли ради забавы, то ли всерьез выкрикнул Георгий древнее славянское заклятие.

– Тише ты! – цыкнул на него княжич. – Что если волхв уже там, наверху? Услышит еще. Лучше огня зажги, только несильно.

Варяг, не слезая с коня, отломал от сосны сухую толстую ветку, скупов обмотал тупой конец смоляной паклей из торока.

– Эй, купец, держи.

Несда подхватил брошенный сук. Георгий высек на паклю искру, запалив огонь, и забрал светильник. Озаренный пламенем ближний лес стал не таким пугающим и враждебным. Не норовил больше выколоть ветками глаза, больно хлестнуть по лицу. Только за стволами деревьев, мимо которых проезжали, стало еще темнее, и чудилось, будто там, во тьме, злобится нежить.

Варяг и княжич заговорили вполголоса о ловах и о приемах, годных для охоты на разных зверей: на медведя и на рысь, лося и вепря, тура и оленя. От зверей незаметно перешли к волхву. Измысливали на ходу способы его поимки – чтобы чародей не успел обернуться волком или другой тварью, не призвал на помощь нечистых духов, не сотворил иного колдовства, которое даст ему ускользнуть. В основном старался Георгий. Мономах или молчал, или хмыкал, или строил возражения. Особенно не нравилась ему мысль, что на капище волхвует сам полоцкий Всеслав.

– Если он может перекидываться волком и выходить из поруба, зачем ему возвращаться в заточение?

– Это военная хитрость, чтобы никто ничего не заподозрил до времени.

– До какого времени?

– Вот когда оно настанет, тогда и узнаем какого, – резонно заметил Георгий. – Я бы на месте князя Изяслава сжег это капище, а Всеслава и остальных полоцких волхвов отдал на суд. Они язычники, пускай их судит митрополит. А князь утвердит приговор.

– У тебя, Георгий, все ли в порядке с головой?

– Да как будто не болит. А что?

– То-то и оно, что не болит, – поддразнил варяга Мономах. – Ты боярский сын, а не смерд или раб. Должен знать закон. Ни в Русской Правде, ни в церковном уставе князя Ярослава нет наказания за ведовство и волхование. Мы не магометаны, чтобы убивать людей другой веры. Их нужно убеждать словом, а не страхом.

– Ага, словом, – буркнул Георгий. – А они тебя топором убедят.

Гора оказалась не так высока, как представлялось снизу. Еще и под дождем не успели как следует вымокнуть, а уже выбрались из леса и поднялись на плешивый верх холма. Верхушка была широкой и неровной, с большими буграми, притом достаточно плоской, чтобы видеть ее из конца в конец. Морось не переставала, но в тучах появилась лохматая прореха, и в нее немедленно сунулось желтое пронзительное око луны. Вместе с луной трое охотников оглядели макушку Лысой горы. Даже без светильника, который Георгий забросил в кусты, чтобы не спугнуть волхва, они отчетливо узрели капище. Мономах предложил подъехать ближе.

Идола окружало восемь рукотворных бугорков. На семи были заготовлены дрова для священного языческого огня, а на восьмом темнело пепелище.

– Вот оно, идолище поганое, – презрительно сказал Георгий.

Княжич на коне переступил границу капища, подъехал вплотную к кумиру и хорошенько рассмотрел его.

– Это не Перун, – молвил он. – Я видел такого в Ростове, в тамошнем Чудском конце. Только тот идол вытесан из камня и намного больше. Просто огромный.

Мономах спрыгнул с седла, носком сапога разворошил груды углей и пепла на кострище. Вспыхнула оранжевая искра и тут же погасла.

– Недавно жгли. – Он поднял с земли комок грязных перьев. – Петуха, что ли, спалили? Княжич оседлал коня и выехал с капища.

– Это Кривой Велес, подземный бог, покровитель колдунов и песнотворцев.

– Почему кривой? – удивился Георгий.

– Это его имя. От него назвалось племя кривичей. Северная чужь тоже почитает этого бога. У них считается, что он враг Перуна.

– А Полоцк стоит в земле кривичей! – догадался варяг.

– Нам нужно где-нибудь спрятаться, – сказал княжич и направил коня прочь от капища.

Несда, осенившись крестом, был бы рад убраться от кумирни куда подальше. К тому же слова про петуха натолкнули его на неприятные догадки. Но Мономах всего лишь вернулся к лесу, спрыгнул с коня и привязал его к стволу. То же самое сделал Георгий, а затем взвалил на себя тороки. Несда, не любивший верховой езды, на этот раз спешился неохотно.

Они поднялись снова на верх горы и укрылись за большим бугром, из-за которого хорошо были видны очертания идола. Дождь прекратился. Почти круглый месяц уверенно распугивал рваные тучи, не позволяя им затмить себя. Варяг тут же принялся копать в тороке. Княжич без смущения расположился на грязной траве, плотно завернувшись в плащ. Георгий с ворчаньем пересадил его на расстеленную овчинную кошму. Себе достал такую же. После этого извлек из другого торока снедь: холодное мясо с луком, пироги и деревянный жбан кваса.

– Эй, купец, что стоишь, будто кумир? – спросил Мономах с набитым ртом. – Мокрой травы боишься, а подстилку не взял? Эх ты.

Он подвинулся, уступая место.

– Садись. Сторожить будем. Или ты думал – придем, волхва быстро повяжем и назад? Сразу видно, что на охоте никогда не бывал. Чтобы зверя выманить, иногда полдня потратишь. А тут не зверь, тут... Человек хуже зверя бывает, знаешь ли это, купец? Да ты ешь, не робей.

Несда, вымокший, замерзший, опечаленный, почуввав сильный голод, взял пирог и стал медленно жевать.

– Знаю, что человек не сравнится со зверем, – ответил он. Пирог ему попался со сладкой кашей.

– Посмотри, Георгий, – усмехнулся Мономах, – а он не так-то прост! Верно, что человек не равен зверю. В лучших своих делах он много выше зверя, а в худших – много ниже бессловесной твари. Почему ты не взял с собой оружие, купец?

Несда перестал есть и закусил губу, раздумывая. Этот вопрос день ото дня становился для него все глубже.

– Я духовный сан приму, – вдруг сказал он. И сам испугался таким словам.

– Вон оно что! – подивился княжич. – А ну-ка отвечай, откуда это: «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня; цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал...»

– Семнадцатый псалом, – не дал ему договорить Несда.

– Верно! А это: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут».

– Тридцать шестой.

– Тоже верно, – удивился Мономах. – А так можешь?

Он произнес фразу на греческом языке. Несда, подумав, ответил:

– Ты сказал: «Если кто из вас может другим услужить, от Бога пусть воздаяния ожидает и вечных благ насладится».

Княжич, все более изумляясь, еще какое-то время испытывал его познания. А затем сказал такое, от чего Несду, несмотря на сырой холод и ветер, бросило в жар.

– Епископом будешь! – Придвинувшись ближе, Мономах заговорил вдохновенно, горячо и страстно: – Я город построю, в Ростовской земле, там будет столица Руси. Там леса непроходимые, холод сильнее, чем тут, дух суровый. Язычество искореним. Здесь же нам степь не даст житья. И за Киев дядья и их сыновья грызться будут, верное слово. Не хочу этого...

– В Ростове батька Леонтий епископ, – вставил Несда.

– Так то в Ростове. Я же другой город построю, великий. Своим именем назову. Пойдешь туда епископом?

Несда помотал головой.

– Власти страшусь.

– Дурень. – Мономах отодвинулся. – Власть Богом дается для дела. На Руси дела много. А ты как раб ленивый хочешь жизнь прожить?

– Я книги люблю.

– Книги я тоже люблю. Только никто за меня моего дела не сделает. И твоего тоже. Все сам должен. Вот ты думаешь – за меня Георгий и прочие отроки все делают? Как бы не так. Я в Ростов через землю вятичей шел. Ты знаешь, что такое идти сквозь вятичей, прямой дорогой, через леса? Все равно что через половецкое становище. – Мономах наклонился к нему и жарко дышал в лицо. – Отовсюду в тебя стрелы и сулицы метят, а ты их не видишь. Каждую ночь сторожевой наряд выставлять, как на войне, да и днем не зевать. На старшего в дружине не полагаться – самому около кметей ложиться и вставать до рассвета, и оружие с себя не снимать. Никогда не давать себе покоя – вот княжья доля. Вбей себе в голову, купец: на мне держится Русь.

– На тебе?

– На тебе! На каждом. Если будешь следовать этому, то и другие так же делать станут. Понял?

– Понял, – кивнул Несда и уточнил: – А как с книгами?

– Вот же заладил. Ну стань Васильем Великим и пиши книги!

– Васильем не могу, – опешил Несда. – Георгием Амартолом, пожалуй. Он монах был.

– Иди в монахи! К Феодосию. Там лучше всего. Феодосьевы иноки, рассказывают, чудеса творят.

– Меня отец прибьет.

– Купец? Не прибьет. Я тебя выкуплю...

– Князь! – встрял Георгий. – Больно громко говоришь. Все волхвы разбегутся.

– Волхвы! – вдруг сказал Несда, вытягивая шею. Впереди во тьме ему почудились отсветы огня.

– Что? Где? Сколько их? – посыпалось одновременно.

Варяг и княжич вползли на верх бугра и затаились, вжавшись в траву. Несда залег рядом. На капище в самом деле горело яркое пламя. Потом быстро вспыхнула вторая поленница дров, за ней третья.

– Маслом разжигает, – прошептал Георгий. – Или смолой.

От одного кострища к другому переходила человеческая фигура, запаливая огни. Только последний, прогоревший днем костер зажегся едва-едва, пламя плясало у самой земли.

На волхве был длинный плащ с клобуком, закрывавшим голову.

– Ну повернись, – упрашивал его шепотом Георгий, – повернись... Если это оборотень Всеслав, нам его не одолеть.

– А ты знаешь Всеслава в лицо? – тихо посмеялся Мономах.

– Ох... и впрямь не знаю.

– Я тоже никогда его не видел. Тогда не все ли равно, кто там колдует. Надо подойти ближе. Он нас не увидит, мы придем из темноты.

Княжич встал в полный рост, распахнул плащ и беззвучно обнажил меч.

– Меч святого Бориса. Пошли, Георгий. А ты, купец, оставайся на месте и жди. Если мы не вернемся, действуй как знаешь. Бог тебе поможет.

Он перекрестился и зашагал к капищу, не прячась. За ним, осенясь знамением, двинулся варяг, догнал княжича и попытался обойти – закрыть собой. Мономах отстранил его рукой.

Они приблизились к границе темноты и света. Несда, плохо сознавая, что делает, отправился следом. От капища его отделяло чуть более полусотни шагов. Он увидел, как Георгий, обойдя все же Мономаха, быстро перескочил между двумя огнями и ткнул острие меча в спину волхва.

Дальнейшее произошло стремительно, Несда не успел пройти и двух шагов. Волхв, не оборачиваясь, скинул с головы клобук, по-заячьи скакнул наискосок в сторону. На прежнем месте остался только плащ. Волхв сделал еще одно быстрое, едва заметное движение. Георгий выронил меч и стал падать.

В тот же миг Несда увидел лицо волхва, показавшееся почти черным: короткие кучерявые волосы над невысоким лбом, угрожающе оскаленные зубы, блеснувшие белизной. Отрок споткнулся и упал, к горлу подступила внезапная тошнота.

На капище волхвовал комит софийской стражи Левкий Полихроний. Он был облачен в броню и сжимал в руке короткий меч.

К варягу с криком подбежал Мономах, подхватил, но не удержал. Они упали вместе. Пока княжич пытался встать, волхв исчез. Георгий не шевелился и не дышал. Пониже плеча из дыры в груди быстро расплзалась кровь. Мономах выставил вперед меч и бросился в темноту за убийцей.

Несда, шатаясь, поднялся и пошел к кумирне. Он не слишком понимал, что произошло. Оскал волхва, обернувшегося софийским комитом, затмил все мысли. Он только хотел помочь варягу, с которым что-то случилось. Вдруг из темноты вылетел Мономах и едва не повалил его снова в траву.

– Где он?! Где этот бесовский чародей?

Несда очумело потряс головой.

– Не знаю.

– Он убил Георгия и как в бездну провалился!

Княжич оттолкнул его и убежал.

Несда посмотрел на полыхающие огни и на лежащее ничком посреди капища тело варяга. Его помощь больше не нужна. Теперь дело стало яснее: охота на волхва закончилась.

Он развернулся и пошел прочь. С неба снова начало капать. Потом лить. Очень быстро дождь разошелся, струи хлестали по лицу, словно плети. Гроыхнула молния. Перун гневался, что его врагу Кривому Велесу принесли человечью жертву. Или радовался. Никогда не знаешь, что у этих лукавых божеств на уме. Несда и подавно не ведал. Он спускался с горы, тычась в темном лесу будто слепой щенок. Шептал:

– Господи, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивных даруя...

17

Ворота Киева открывались на рассвете. В это утро свет не приходил долго. Небо угрюмилось темными быстрыми тучами, бежавшими будто привязанный к половецкому коню пленник.

Стражники, отперев ворота, удивленно проводили взглядами отрока, первым вошедшего в город. Отрок в свитке на меху был грязен, мокр, испарапан и несчастен. Он трясся от холода и кулаком размазывал по лицу сырость – то ли слезы, то ли дождь.

– Эй, малец, – окликнул стражник, – ты чьих будешь?

Несда не услышал его и не обернулся.

– А может, ничьих, – ответил сам себе жалостливый кметь. – Божья птаха.

– Неспокойная ночка была, да-а, – сказал второй стражник, почесывая под шапкой. – Слыхал, что сменные баяли? Переяславский княжич прискакал-де бешеный, ломился в ворота. Про душегубство кричал чегой-то.

– Я ж с тобой был, – напомнил первый, – слыхал небось, не безухий.

– Ну да, ну да, – покивал другой. – Так этот мальчонка, может, видал там чего? Ишь, горестный какой.

– И верно! Соображаешь, Тулук, – с уважением сказал первый и проорал во всю глотку: – Эй, малец!

Но мальчика и след уже затерялся среди квелих поутру, зевающих холопов, тяжело бредущих торговцев-коробейников и баб-портомой с огромными корзинами тряпья, собравшихся на речку.

Несда тихо подошел к отцову двору, в последний раз растер грязь на лице и сосредоточенно предстал перед кормильцем. Дядька Изот сидел сгорбленный у ворот на обрубке колоды, обхватив голову руками. Ясное дело – хозяйское чадо сгинуло без вести, кормильцу первому за пропажу отвечать. Дядька Изот к тому же добрый, к дитю всей душой расположен.

– Вот он я, дядька, – сказал Несда, сделав голос потверже, чтобы не дрожал.

– Ах ты ж, – всплеснул руками кормилец, подскочил и давай ощупывать и оглядывать чадо. – И где же ты был, изверг!! Аж чуть голова моя не поседела! Кто тебя так измордовал?!

– Пусти, дядька, – отбивался Несда, – никто, сам. В лесу заблудился.

– В лесу! Боги святы! Да как ты там оказался-то ночью?

– Не спрашивай меня ни о чем, дядька Изот. Все равно не скажу. И отцу не скажу.

Несда всхлипнул.

– Ну вот, и очи намокли! Ах дите ты, дите, – сжалился кормилец и прижал его к себе. – Ну, не говори, не говори. Поплачь, ежели хочется. А хозяину и не до тебя теперь. Нынче всем плакать хочется.

Несда вырвался из объятий.

– Что случилось, дядька? Отчего отцу не до меня?

– Эх!

Кормилец безнадежно махнул рукой и пошел во двор. Несда догнал его и дернул за рукав.

– Говори!

– Прискакал незадолго до тебя Балужка.

– Отцов холоп? Да ведь его на весло посадили, в Корсунь...

– То-то и оно. Он да еще двое от всего обоза остались.

– Куманы? – задохнулся Несда.

– Они. Одну лодью, говорит, взяли, а две сожгли. Перебили всех, ночью.

Несда рванулся к дому, но вдруг остановился.

– А Даньша?

Дядька Изот молча повесил голову. От крыльца навстречу Несде, гремя бубенцами-подвесками, выбежала Баска в рубашонке без подпояски. С тихим сопеньем ткнулась ему в ноги. Он погладил сестренку по голове, взял за руку и увел в дом. В сенях ее подхватила нянька, стала выговаривать за непослушание.

В доме было не по-утреннему безмолвно. Не сновала челядь, не перекликались весело девки-холопки, Мавра не раздавала дневные работы по хозяйству. Несда на цыпочках прошел к истобке, неприметно встал у ободверины.

Балушка ерзал на скрыне и отчаянно вздыхал. На нем была рубаха с чужого плеча и ветхие лапти не по ноге.

– Такие дела, хозяин...

Поникший Захарья сидел у стола, крепко сцепив большие руки, волосы свешивались на глаза. Мавра беззвучно плакала за прялкой, вцепившись рукой в свои обереги, приколотые связкой к верхней рубахе, – крохотные медные гребешки, ковшики, гуси-лебеди.

– Так, говоришь, до Воиня не доплыли, – молвил Захарья. По напряженному лицу было видно: он силой утверждает себя в мысли, что его людей больше нет.

– Уже за Росью весть донеслась, – закивал Балушка. – Гонцы переяславские оповещали. После того еще два дни плыли. Данило, шурин твой, не хотел назад поворачивать. Да лихую сторожу ты, хозяин, набрал. Иные сбегли, иные с Данилом засобачились.

– Что ж куманов проспали? – горько спросил Захарья. – Днем собачились от страха, а ночью дрыхли преспокойно?

Балушка исторг из себя долгое покаянное воздыхание, хотя он-то виноват ни в чем не был.

– Думали, на правый берег поганые не полезут. – Холоп посмотрел в глаза Захарье, распрямил спину, гордо сообщил: – Две лоды мы спасти могли, хозяин! Почитай на середину реки успели увести. С огнем только совладать не сумели. Куманы нас запаленными стрелами достали. Потом уж в воде добивали. А кто и сам потонул.

– Своими глазами видел, как Даньшу убили?

– Видел, как налезли на него, ровно стоя псов. Где ему с одной рукой рубиться против такой своры.

– Сам-то как спасся?

– Да уж не чаял. До утра мы втроем в воде за обгорелыми лодьями хоронились. С зарей на нас в тумане и выплыли тьмутараканцы. Послы из Киева к себе возвращались.

– Знаю, то бояре Глеба Святославича. Что ж, сразу они повернули, как вас на борт взяли, или еще кого найти пытались?

– Прошлись вдоль берега. – Балушка увел глаза в сторону. – Трупья там плавали, хозяин. Никого живого. Так и повернули назад. Не захотели куманов дразнить.

Тут Захарья увидел сына.

– А, ты... Где был? – равнодушно спросил он.

– На капище, – неожиданно для себя сказал Несда. Голос был хриплый, простуженный. – Там твой петух, отец.

– Петух? – безвольно пробормотал Захарья. – Не помог петух. И чернецы тоже... Иди в поварню, пусть тебя накормят.

Он встал. Растерянно огляделся вокруг.

– Надо пойти. Гавшу оповестить. Даньиной вдове слово молвить. Убиваться станет баба...

Несда стянул с себя мокрую свиту, от которой шел пар.

– Идем-ка в сухое тебя облачу, – взял его за плечо кормилец.

Дочиста умытый и переодетый, Несда уплетал кашу с репой и мясом за большим столом в поварне. На том же столе рубила капусту Дарка. Молодая челядинка успела в своей недолгой

жизни расцвести первой красой и тут же ее потерять. На щеке у девки багрянел рубец, похожий на куриную лапу. Год назад Захарья купил ее на торжище, когда Киев наполнился невольниками, приведенными из полоцкого града Менеска. Рана на лице молодки была тогда совсем свежей. Кто-то из кметей братьев Ярославичей оставил на ней свою метину и заодно задрал подол. К зиме живот у Дарки округлился, а к весне спал: девка от горя совсем почернела и скинула дите. Дядька Изот за ней самой ходил в ту пору как за дитем: отпаивал зельем, шептал сказки, уговаривал жить. Дарка выжила, поднялась на ноги и на кормильца с тех пор смотрела благодарно. А дядька Изот, напротив, стал усыхать. Жалел девку и так глубоко впустил ее в сердце, что теперь было не вынуть занозу.

– Товару-то сколько сгибло! – сетовала Дарка, ловко орудуя тесаком.

– Товар что, дело наживное, – сказал кормилец, тут же стоявший, будто решил не спускать теперь с чада глаз. – Мертвых не воротишь.

– Убитых не поднимешь, – согласилась девка. – Они только в памяти как живые. Родителей моих до последней черточки помню. И как они убитые лежали... – Дарка пересилила себя, отогнала слезы. – Пока наш хозяин будет товар заново наживать, чем ему свой дом содержать? Небось от половины ртов захочет избавиться. Холопьев на торг отведет. А там к какому еще хозяину попадешь?

Дядька Изот от такой мысли закаменел и не знал, что сказать.

– Сынок хозяйский подрост, в пестуне нужды боле нет, – гнула свое Дарка, принимаясь за вторую капустную голову. – Продаст он тебя, Изот, а?

Кормилец с жалким вопросом в глазах смотрел на Несду, будто искал у него защиты.

– Не продаст, – пообещал Несда, облизывая деревянную ложку. – У нас скоро новое дите родится.

– А если девка будет? А по миру если пойдете? – с внезапной злостью спросила челядинка.

– Дарка! – прикрикнул на нее дядька Изот. – Какой пес тебя укусил?

Девка сникла.

– Наелся? – Она забрала пустое блюдо.

Несда зачерпнул ковшом малиновый квас из бочонка, выпил и ушел с поварни. Поднялся наверх, в изложню, стал собирать суму в училище. За ним притопал кормилец, отягощенный думами.

– Дядька, женись на ней! Тогда если и на торг попадете, то вместе. Мужа с женой не продают раздельно.

Кормилец усиленно затряс головой.

– Не могу. Она молодая, еще может волю получить...

Несда знал о том: незамужняя раба обретала свободу после смерти хозяина, если прижила от него дитя. Он участливо поглядел на кормильца – скольких усилий требовалось ему сказать такое?

– Пойдем, дядька, в училище! – бодрясь, позвал Несда.

– Да какое ж сегодня ученье? – развел тот руками. – Нынче княжки рати с ополчением в поход идут. Уже небось и выступают.

– А верно!

Несда схватил сумку и со всех ног побежал к софийскому двору. Митрополит Георгий сегодня должен осенять православное воинство крестом, благословляя на победу!

Дядька Изот, ворча, направился в конюшню седлать коней. Снова дите сбежало, забыв обо всех приличиях!

18

В окружении Всеволода Переяславского не было в тот день более мрачного человека, чем варяг Симон, пестун и дружинник князя с отроческих его лет.

Утром, едва посерело небо, на Лысую гору поскакал отряд во главе с варягом. Раздавленный горем боярин сам поднял окоченевшее тело сына и уложил на подвесные носилки, притороченные к седлам двух коней. После этого иссек мечом идола, но лишь затупил клинок. Кмети, поглядев на ярость боярина, отвели его в сторону, поднапряглись и своротили истукана. Сбросили с горы. Сжечь деревянного бога даже не пробовали – всю ночь лил дождь.

Тело отрока обмыли, обрядили и положили в подклети Десятинной церкви. Боярин наказал псаломщикам непрерывно читать над сыном молитвы до своего возвращения из похода. Поп, с которым он обговаривал это, промолчал, сочтя наказ помрачением духа. Кто знает, сколько продлится поход князей против половцев? Две седмицы, три, пять? Мертвое тело за то время сильно истлеет и станет зловонным. Семь дней, не больше, сказал себе поп. Далее отпеть, как положено, и похоронить.

– До моего возвращения, – хмуро повторил боярин, словно угадав мысли иерея. – Завтра придут, положат в другую домовину и зальют медом. Хоронить буду в Переяславле.

...Князь Всеволод Ярославич сперва говорил с сыном наедине. Позже, после церковной службы, позвал вернувшегося с Лысой горы варяга, и уже вдвоем терзали вопросами княжича. Мономах честно пытался вспомнить, видел ли он убийцу в лицо. Но если и видел, что с того – в памяти ничего не осталось, кроме стремительности его передвижений и короткого, будто охотничьего меча. Однако волхва мог разглядеть тот третий, что был с ними, а затем тоже пропал.

– Купецкий сын!

Княжич торопливо описал его: невысокий, прямые темные волосы, стриженные в круг, серые глаза, свита на бараньем меху. Грамотей, книжник, каких и среди попов немного. Имя же неизвестно, позабыл спросить.

– По училищам искать надо, – подвел черту князь Всеволод, – при церквях. С половцами отвоюем, тогда разошлю отроков. Сейчас не до того. Мужайся, Симон. Ополчись со всей твердостью на общего врага, это поможет тебе одолеть горе.

– Я найду этого волхва, князь, и вырву у него сердце.

– Симон, – покачал головой Всеволод, – в тебе говорит страсть гнева и мести. Ты христианин. Оставь гнев и месть Господу, не пачкай ими свою душу.

– Я найду его, князь, – повторил варяг, – и он сам попросит меня о смерти. Демоны ада будут преследовать его и отдадут в мои руки. Я все сказал. Пора выступать, князь.

Когда малый отряд Всеволода подъехал к Святой Софии, здесь уже теснились киевская и черниговская рати. Старшие дружины – лучшие мужи и бояре со своими отроками – заполнили владычный двор, просторно окруженный стенами. Младшие кмети, построенные сотниками в ровные конные порядки, заняли огромную площадь возле подворья, перед главными воротами. С одного боку у них, одесную Софии, высилась пятиглавая церковь Святого Георгия, небесного покровителя великого кагана Ярослава. С другого, ошую, стоял похожий на нее храм Святой Ирины, патронессы Ярославовой жены, княгини Ингигерд. При обеих церквях ютились монастырки, мужской и женский, по несколько келий в каждом, отгороженных от площади тыном. Чернецы Георгия повысыпали за калитку своей крохотной обители и с благолепием на лицах озирали войско. Ирнинские черницы, напротив, не высывались, прячась от обильного скопления мужской плоти. Прочий киевский люд плотно облепил окрестные улицы и со страстной жадностью глядел на происходящее. В толпе обсуждали молодеческую лихость

отроков и боярскую статью, сетовали на поганую степную орду, уповали на княжью ратную силу. Где-то там протискивался между потных тел поближе к зрелищу купецкий сын Несда.

Бояре Всеволода конями и зычными голосами прокладывали дорогу князю, ломая дружинные порядки. Наконец въехали в ворота подворья. Всеволод, встав на стременах, сразу же увидел обоих братьев. Изяслав и Святослав разговаривали с митрополитом Георгием возле гульбища собора. Торжественная литургия в праздник Рождества Богородицы закончилась не так давно. Всеволод из-за ночных событий и утреннего переполоха, устроенного княжичем, не смог прибыть на службу в главный киевский храм. Пришлось младшему из Ярославичей причащаться на ранней обедне в Десятинной церкви, вблизи княжьих каменных палат на Горе. Сейчас князь жалел о том, что не присоединился к старшим братьям, не испытал упоительного чувства единения, которое незаметно, но накрепко связывает даже незнакомых людей во время соборных молитв.

– Пустое мальчишество приводит к большим потерям. Запомни это, сын, – сурово сказал он Владимиру, досадуя на его несчастную оплошность.

Княжич виновато опустил голову.

– Впредь тебе следует хорошенько думать, прежде чем действовать. А еще лучше, перед тем как начать думать, очисти голову молитвой к Господу.

– Я запомню это, отец. Клянусь тебе, – порывисто произнес Мономах, – отныне и до конца моей жизни я буду осмотрителен и осторожен в своих поступках. Память о бедном Георгии тому порукой.

– Верю тебе, сын, – смягчился князь. – Ты достаточно разумен и благонравен для того, чтобы не нарушать своих клятв.

Оказавшись в сборе, трое Ярославичей благословились у митрополита. Затем собрали воевод и заспорили, какой дорогой вести войско от Киева к Выдубичам, к броду через Днепр. Между тем владыка в сопровождении многолюдного софийского клира объезжал на коне дружины – кропил рать святой водой из чана, который везли двое отроков из митрополичьей сотни. Тысяцкий Косняч на совете князей и воевод отсутствовал. Его заботой были городская рать и ополчение окрестных смердов, три дня стекавшихся в Киев со своим вооружением и телегами для обозов. Пешцов решено было сплавлять до Переяславля по воде. С раннего утра у пристаней в устье Почайны развернулась шумная погрузка ополченцев на лоды. Обозы должны были ехать в хвосте конных дружин и ждали своей очереди. Длинная змея телег заняла всю улицу от ворот княжьей Горы до Святой Софии.

Спор Ярославичей затянулся. Оба старших настаивали на верхней дороге, идущей от Золотых ворот Киева до града Василева. Она хоть и протяженнее, но, по всему, надежнее. Всеволод от доводов братьев готов был то ли плакать, то ли ругаться последними словами, хоть и не любил этого. Скорее все же последнее, но тут он сдерживал себя: все-таки братья и все-таки старшие, следует хранить честь старшинства. Сам же Всеволод хотел двигаться нижней дорогой, которой всегда ездил в Киев из своего Красного двора на Выдубичах. Она тянулась у подножия холмов от Лядских ворот вдоль берега Днепра, через княжье Берестовое и Печерский монастырь. В монастыре и таилась загвоздка.

– Тебе не хуже нас известна примета, – увещевал брата Изяслав. – Если встретится на пути чернец – нужно возвращаться назад и начинать путь заново.

– Да что с вами, братья? – изумлялся Всеволод. – Не вы ли вчера ездили к этим самым чернецам просить благословения? Пошто отдаете себя в силки суеверий?

– Мы-то не отдаем, – слукавил Святослав, – а вот кмети наши, особо отроки, тем паче обозные смерды, приметам верят. И чернеца повстречав, поворачивают, и свинью увидев, назад идут.

– Да зачем же монахов со свиньями ровняете?! – рассердился Всеволод. – Не известны мне такие приметы, и знать их не хочу!

– Не хоти, брат, – миролюбиво сказал Изяслав. – Да только как велишь нам поступать, когда на пути встретится чернец и отроки заропщут? Великая досада будет в войске, и дух ратный упадет. Нам то нужно?

Всеволод лишь развел руками. Из воевод один черниговский Янь Вышатич был на его стороне, но и вдвоем не могли никого убедить.

– Делайте как хотите, – сдался младший князь. – Я же со своими боярами поеду через монастырь. Встретимся на Выдубичах.

На том сошлись.

Малая дружина Всеволода, окропленная святой водой, не задерживаясь, поскакала прямой дорогой к Лядским воротам. Прочие, получив свою порцию святых брызг с митрополичьего кропила, также напрямик отправлялись к Великим вратам Киева. Впереди ехали оба князя в богатых плащах-корзнах. За ними колыхались стяги и хоругви в руках знаменосцев. Дальше двигались дружины – впереди старшие, позади младшие. За год, прошедший с последнего похода, многие обзавелись обновами – броней ли тонкой работы, мечом ли дамасской закалки, позлащенным ли шлемом со святыми образами или щитом с личным знаком на оковке, как у рыцарей из латынских земель. Каждому, от ближних бояр до самого последнего отрока, не терпелось похвалиться своим добром перед другими. Но из города выезжали налегке – успеют еще упариться с пудом снаряжения на себе. Все воинское облачение и оружие было поручено боевым холопам и сложено на бесчисленных обозных телегах.

Головной отряд уже входил под каменную сень Золотых ворот, а от владычного подворья только готовились отправиться последние дружинные сотни князя Святослава. За ними пристраивались возы. Кроме оружия и панцирей везли снедный припас, поварскую, ремесленную и прочую нужную в походе утварь. Возницам, сельским смердам и набранной в обоз челяди драгоценных водяных капель уже не досталось. Митрополит здраво рассудил: к чему метать бисер перед свиньями, а святую воду лить на матерых язычников?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.